Проза великих

ПАУЛЬ ЙОЗЕФ ГЕББЕЛЬС

МИХАЭЛЬ

ГЕРМАНСКАЯ СУДЬБА В ДНЕВНИКОВЫХ ЛИСТКАХ

SHOUT
SHARE
IT

- Иозеф Геббельс
  -
  - Посвящение
  - Предисловие
  - Приложение I
  - Приложение II
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

Иозеф Геббельс
МИХАЭЛЬ
Германская судьба в дневниковых листках

Эту книгу я посвящаю памяти моего друга Рихарда Флисгеса, который 19 июля 1923 г., как доблестный солдат труда, принял тяжкую гибель на руднике подле Шлирзее.

Joseph Goebbels

Michael

Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern

Посвящение

1918.

Ты стоишь, чтобы, как аттестат зрелости, получить новую повязку на простреленную руку, серый шлем на пробитую голову, грудь в крестах вместо уютного бюргерства. Поскольку тебе не известны некоторые закономерности, можно постановить, что ты ещё не слишком зрел.

Нашим ответом было: Революция!

1920.

Мы оба понимаем, что под натиском душевного распада можно и сдаться. Направиться навстречу друг другу да споткнуться.

Моим ответом было: Вперекор!

1923.

Ты бросаешь своей судьбе вызов. Прогнуться или разбиться! Но было ещё очень рано. Потому что ты бы пал жертвой.

Твоим ответом было: Смерть!

1927.

Я стою на твоей могиле. В стеклянном солнечном свете лежал тихий зелёный пригорок. И всё говорило о бренности.

Моим ответом было: Воскресение.

Предисловие

Вот глубочайшее благословение жизни: из своих тайн произрастают в вечном изменении силы юного бытия. Необходимость — это путь к счастью. Разложение и распад означают не заход, а восход и начало. За повседневным гвалтом в безмолвии действуют мощные силы нового творения.

Юность сегодня животворнее, чем когда-либо. Она верует. В то, что идёт борьба. Из неё, устремляясь к свету, вырываются ростки новых бытийственных форм.

Юность всегда права перед старостью.

В радостно глядящих вперёд сердцах горячо и жарко горит воля к созиданию, к жизни, к форме. С болью ожидают часа миллионы. В неотапливаемых чердачных комнатах многоэтажек, в батрацких бараках и во временных складах, в голоде, холоде и духовных муках возникает надежда и знак иного времени. Вера, борьба и труд — вот добродетели, которые объединяют сегодняшнюю молодёжь на её фаустианской творческой стезе.

Мы постепенно приходим друг к другу: дух воскресения, Моя доля, что передаётся Тебе, брату, народу, — суть мост, объёдиняющий эту и ту сторону.

Мы дожидаемся дня, который принесёт грозовой ветер. В этот миг мы исполнимся мужества и воли совместно ринуться на подвиг во имя Отечества. Мы жаждем жизни, а потому нам следует завоевать жизнь.

Дневник Михаэля — это потрясающий и обнадёживающий памятник германскому усердию и самоотверженности. В его тихом, невзыскательном зеркале отражаются все те силы, которые сегодня формируют в нас, юных, идеи, а завтра — и влияние. Вот почему жизнь Михаэля и его смерть — более, чем случай и слепая судьба. Это знак времени и символ будущего.

Жизнь на службе труду и смерть во имя формирования грядущего народа — вот самое отрадное, что мы можем видеть на Земле.

Й. Геббельс в 1923 году

В скором поезде, 2 мая.

Подо мной больше не фыркает чистопородный жеребец, я больше ни сижу на орудийной скамье, ни ступаю по глинистому илу заброшенных траншей. Как долго я блуждал по далёкой русской равнине или по унылой развороченной французской земле. — Минуло!

Я постепенно расслабляюсь. Как Феникс, возрождаюсь из пепла войны и разрушения.

Мир!

Это слово бальзамом ложится на кровоточащую рану. Я чувствую, будто благодать этого слова можно ощупать руками.

Глядя в окно, я вижу, как сбоку проплывает германская земля: города, деревни, леса, поля. Тихий путь проходит через бурую пашню. На её кромке цветут цветы.

На просёлочных дорогах резвятся дети.

В прозрачный воздух вонзаются высокие фабричные трубы.

Проносятся отдалённые зелёные поля. Они сияют тысячью красок и оттенков. Я открываю окно и дышу, дышу глубоко. По

германской земле расстилается солнце. Может быть, так греки приветствовали море.

Родина! Германия!

Цветение в полях и в садах; опьянение, совершенная роскошь для взора, четыре года не видевшего, ничего иного, кроме обломков, грязи, крови и гибели.

Я несусь, как плавучий остров. Навстречу свободе!

Проезжая Франкфурт, я выразил моё почтение юному Гёте. Он всё ещё и сегодня предводитель в духовной распре. Передовой боец любой юной воли. Наша Мекка — не Веймар.

В кармане я ношу лишь одну книгу: «Фауст». Я читаю первую часть. Для второй я слишком глуп.

Гейдельберг! Расположился в прелестной долине. Наверху высится замок. На перроне поют студенты.

Холмы перерастают в горы! Земля под солнцем испускает пар.

Мои глаза пьют божественную красоту!

5 мая.

Вот я сижу в моих собственных четырёх стенах, студент, свободный, сам себе господин и повелитель. Как часто я скучал об этом в грохоте битв.

Я скитаюсь по улицам и переулкам, как будто бы я здесь дома. За границей мы выучились устраиваться и существовать. Город красив и приятен. В этом краю у людей есть время. Едва ли можно заметить спешащего человека. Мы уже глубоко на юге.

На Карлсплац располагаются скамейки. Они всегда заняты, утром, днём и вечером. В общем, мне не довелось наблюдать ни одной скамейки, которая не была бы занята.

Каштаны на Шлоссберге жгут свои белые свечи. Если у меня есть время — и даже когда его нет — я не спеша поднимаюсь на вершину. Внизу покоится город. Как цыплята вокруг наседки, грудятся вокруг разрушенного кафедрального собора старые дома. Солнце, сверкая, играет на красных крышах новой части города.

Везде поодаль блистает земля. Вдали, будто на плаву, выныривают Вогезы.

Где-нибудь там, год назад, я стоял в ураганном огне и имел лишь единственное желание: окончить бы муки, погибнуть, пасть, стать героем, ничего больше не знать.

А нынче я стою здесь и хочу жить всеми фибрами, рвущимися во мне.

8 мая.

Я живу во дворе одного пригорода в последнем доме. Вид из моего окна устремлён на цветущий сад.

Солнце почти весь день льёт свет в мою комнату. Небо над этим городом совсем южное, глубоко синее.

Когда я иду в университет, то пересекаю такие чистые улицы, какие встречаются лишь в Германии. Вдоль тротуаров бегут широкие канавы, по которым течёт прозрачная, как жемчуг, ключевая вода. Стайки ребятишек по колено шлёпают по ней и выкидывают над прохожими свои каверзы.

Мне живётся, как у Христа за пазухой!

Вечером, минуя кафедральный собор, узким, безлюдным переулком я возвращаюсь домой. Иногда я слышу только свои собственные шаги. Вечерний воздух ласково обвевает моё лицо. Если я останавливаюсь, то в тишине различаю, как где-нибудь журчит и плещет источник.

Ночная беседа двоих мужчин на той стороне.

У открытого окна:

Последнее дуновение
Усталого пения птиц
И благоуханной сирени
Доносит вечерний ветер
В мою комнату.
Я не в силах уснуть!

12 мая.

Будто бы случайно я встречаю моего школьного товарища Рихарда. Мы также виделись пару раз на улице. Какая приятная встреча! Он спрашивает меня, что я изучаю.

А что я, собственно, изучаю?

Всё и ничего. Я изрядный бездельник, и, сдаётся мне, весьма неумён для научной специализации.

Человеком хотел бы я стать! Приобрести очертания.

Личность! Путь к новому германцу!

Стиль — это всё! Стиль — это соответствие между закономерностью и выражением. Кто желает обладать стилем, должен обладать и тем, и другим — и закономерностью, и выражением.

Потому что стиль означает не что иное, как само собой разумеющимся образом производить, переносить и формировать всё то, что соответствует собственной закономерности.

Само собой разумеющееся — есть тональность.

Если в тебе ничего не горит, как можешь ты воспламенять?!

16 мая.

Вечером мне наносит визит Рихард. Мы сидим внизу в саду и беседуем, пока не нисходит ночь. Он толков и понятлив, а, прежде всего, он очень много знает.

Мы обмениваемся воспоминаниями из самой ранней юности. Передо мной предстаёт деревня, сад и отчий дом. Сквозь распахнутое окно я слышу, как в кухне хлопочет мама.

Мама!

Не надо никого, только бы мать.

Мать, которая не является для своих детей всем — другом, учителем, ближним, источником радости и надёжности, стимулом, утешителем, обвинителем, миротворцем, судьёй и искупителем — такая мать, по всей видимости, не отвечает своему призванию.

Моя мама расточительна от Бога: во всём, начиная от денег и вплоть до исключительной сердечной доброты.

Она раздаёт всё, что у неё есть, и даже сверх того.

Только мать способна подлинно чувствовать своих детей.

17 мая.

Я долго размышлял над тем, почему происходит так, что моя жизнь столь безрассудна, что во многом остаётся хоть начать пьянствовать.

Обеими ногами я твёрдо стою на родной почве. Меня окружает дух сырой земли. Степенно и здорово приливая, во мне циркулирует крестьянская кровь.

Рихард называет меня человеком бытия.

Узкими тропинками я в одиночестве поднимаюсь к Шлоссбергу и вдыхаю тёплый аромат беременной цветочными

бутонами майской ночи.

Я встаю с солнцем и отхожу на покой со звёздами. Сплю по четыре часа и ощущаю себя свежим и бодрым.

18 мая.

В полдень сижу я на тихом, старом кладбище. Передо мной фонтан разбрызгивает в горячий воздух свой тонкий дождь. Надо мной широким куполом раскидываются каштаны. На обвитом зеленью надгробье вьётся плющ.

Пение чёрных дроздов! Ничто больше не нарушает спокойствия мёртвых.

Жужжит пчела.

Я читаю «Полдневное благоговение» из «Заратустры» Ницше.

Тихо… Тихо…

Всё зарождается во Всём. Пан!

20 мая.

В аудитории высшей школы много записано, ещё больше сказано, но, сдаётся мне, весьма мало усвоено. Определённого рода тяга к познанию присутствует здесь всегда. Бледное лицо, интеллектуальные очки, ручка и толстый портфель, полный книг и лекционных тетрадей; — на этом всё.

Будущие вожди нации!

И женщины, о небо! Среди них по-прежнему приемлемы синие чулки.

Мне нужен учитель, которому свойственно являть простую величественность, и которому свойственно являть величественную простоту.

Научная специализация культивирует высокомерие и узость. Здравому человеческому рассудку при этом уступает, главным образом, лишь собачий.

Интеллект — это опасность для формирования характера.

Мы на земле не для того, чтобы набить наш череп знаниями. Всё это совершенно вторично, если не имеет отношения к жизни. Нам следует осуществлять свою судьбу. Воспитать волевого парня — вот что должно являться задачей высшей школы.

Нам же останется выбрать из себя лишь то, что в нас вложил Господь.

Гёте велик потому, что он раздвинул границы германского

сознания. Но было бы ложью желать соответствовать ему в этом. Любое излишне морализаторское следование Гёте — бессмыслица, пустопорожняя фантастика, искажающая мысли.

Quod licet Iovi, non licet bovi![1]

Такова жизнь: если господин Мейер знает наизусть «Фауста», то это служит, прежде всего, подтверждением его хорошей памяти. Почему бы ему не взяться за логарифмическую линейку?

22 мая.

Старый тайный советник рассказывает о родине древних германцев. Я редко посещаю его лекции. Но как часто я уже слышал от него, что наши предки обосновались на нижнем Дунае и на побережье Чёрного моря. Прямо передо мной сидит юная студентка: восхитительная дама! Русые волосы, мягкие, как шёлк, тяжёлыми косами покоятся на её великолепной шее. А сама шея будто бы выточена из жёлто-белого мрамора. Она мечтательно глядит в окно, сквозь которое тихо, почти застенчиво крадётся игривый солнечный луч; я любуюсь её тонким профилем: ясно выведенный лоб, обвитый парой напоминающих крендели колец от кос, долгий, острый, немного широкий нос и под ним мягкие, необычайно упоительные уста.

Во время моего созерцания она внезапно оборачивается ко мне, и я окунаюсь в две огромные серо-зелёные загадки. Сию же минуту она вдруг усаживается тихо и скромно, делая вид, что с интересом вслушивается в усталые слова старого тайного советника и занимается тем, что тщательно записывает. Сквозь окно пробивается назойливый солнечный луч, колеблется над заполненной скамьёй и, наконец, останавливается на её русых волосах.

Они вспыхивают, как мягкий, золотой шёлк, если бы при свете его можно было пропустить сквозь пальцы.

Вечер. Я стою у окна, Рихард сидит рядом в моём большом кресле и размышляет. Он говорит о марксизме. Как он, однако, во всём рассудочен. Марксизм — это чистое учение денег и желудка. Он принимает как данность, что живой человек должен быть машиной. Поэтому он ложен, чужд бытию, надуман и несостоятелен. Логичный теоретически и алогичный практически.

Как мало он всё же решает! Дух ширины, но не глубины. И как он может помочь ослабить наши мучения?

Перевожу ли я разговор на тему о женщинах? И здесь Рихард,

как всегда, изрекает умно и основательно.

Вот женщина. Мужчина не спит.

Мужчина — это директор, а женщина — режиссёр жизни.

Тот задаёт линию, эта — цвет.

Почему сегодня я не поспеваю за мыслями? Я плаваю в море неопределённой тоски и жажды жаждать.

Теперь я один. Я стою у окна, и безоблачное небо вздымает надо мной куполом свои густо усеянные звёздами дали. Сквозь цветы в саду мягко шелестит ветер.

Глухой час благословляет меня!

Ночь склоняет дрожащие руки
Над усталым миром.
Из бледной синевы
Сияя, всходит месяц.
Мои мысли летят,
Как одинокие лебеди,
В звёзды.
Солнечный луч на русых женских волосах…

23 мая.

Я сижу подле неё на лекции. Она застенчива и тщательно записывает в своей тетради, что родина древних германцев, вероятно, на нижнем Дунае и, как известно, там, где впоследствии появился город Бухен. Я слышу, как учащается её дыхание, чувствую тепло её тела и вдыхаю свежий аромат её волос. Ленно опускается её рука, почти рядом со мной. Длинная, узкая и белая, как свежевыпавший снег.

Звенит звонок — и я, увалень, сгребаю в охапку мои пожитки и, как на ходулях, проваливаю.

Снаружи сияет солнце. Сижу на террасе, наблюдаю за разнопёрыми действиями академического бюргерства. Смех, шуточки; отсюда и оттуда до меня долетают отдельные обрывки разговоров о мензурках, тяжести сабель, феноменологии, трансцендентности, исторических подтверждениях…

24 мая.

Герта Хольк: читаю имя в её тетрадке. Насколько ближе делает уже одно лишь имя. Перестанешь чуждаться самого себя, едва обмолвитесь словечком друг с другом.

Я читаю «Вильгельма Майстера». Этот эпос для нас и округл, и отдалён. У него слишком мало углов.

Во Франкфурте, в доме Гёте, слуга показал мне лестницу во двор, на которой маленький Вольфганг, играючи, ухаживал за своей сестрой. На мои глаза едва не навернулись слёзы.

Наверху, в его комнате, и по сей день висит портрет Лотты Буфф. Когда он в вецларский период к полудню возвращался домой со службы в качестве франкфуртского адвоката, то, прежде чем приняться за еду, он поднимался по лестнице в свою комнату, снимал перед портретом шляпу и восклицал: «Доброе утро, Лотта!» Это был ещё тот Гёте, каким любим его мы, молодые. А тайный советник порой несносен.

К искусству относится и характер. Писать прекрасные стихи, а в остальном быть невыносимым своим современникам, — это не вяжется одно с другим.

Быть может, потому поэтом германского народа стал Шиллер, а не Гёте.

И любим ли мы Девятую симфонию больше, чем «Волшебную флейту»?

Искусство — это не только мастерство, но ещё и борьба. Титаны, а не олимпийцы — проводники борющегося поколения.

Чудес больше не происходит потому, что мы сами больше не видим чудес.

Чудо, с точки зрения самого глубокого поэтического смысла, сравнимо с народной песней.

Всё является тем, что ты из этого делаешь, в том числе и ты сам.

У меня кончаются деньги; деньги — мусор, но мусор — не деньги.

25 мая.

Я вхожу в аудиторию. Она краснеет и смущается. Я усаживаюсь через две скамьи позади неё.

Как бесконечно может тянуться час!

30 мая.

Герта Хольк и я — добрые друзья.

О, этот мир прекрасен сквозь призму тебя!

Любовь к человеку приближает нас к Богу.

Это совершенно не верно: сегодняшняя молодёжь не против Бога, она против Его трусливых конфессиональных прислужников, которые во всём желают лишь обделывать с Ним выгодные делишки.

Следует учитывать тех, кто стремится со своим Богом к чистоте.

31 мая.

Прекрасное, чистое субботнее утро. Я не спеша спускаюсь к кафедральному собору. Там величественно стоят в рост шварцвальдские женщины и продают цветы.

Как богата красками эта картина: на заднем плане возвышается кафедральный собор, строгий и торжественный, красно-бурый, перед ним цветочные палатки и женщины в чёрных платьях с алыми шалями.

Подле одной из палаток, желая купить цветов, стоит Герта Хольк. Она беседует с пожилой рыночной торговкой. Она рассказывает, а старушка смеётся — а потом смеются обе.

Она покупает три алых гвоздики на длинных стеблях. Она замечает меня, на мгновение чрезвычайно конфузится и, смущённо улыбаясь, подходит ко мне.

В парке Коломби-Шлоссхен нынче по-утреннему тихо и покойно. Никто не блуждает здесь в эти часы.

Широко и неторопливо простирается над дорогой солнечный свет. На дереве устало поёт одинокая пичужка. Мы сидим до полудня.

Она рассказывает о доме, о крае красноцветной земли, где не прерывается труд, где пышут дымовые трубы и чадят трубы фабричные; об отце, который уже восемь лет как умер, о матери, которая, естественно, заняла место отца и продолжила жить ради детей.

Величавая, мужественная женщина, которая принимает всё, как есть.

Как ты похожа на свою мать, Герта Хольк!

«Что я изучаю? Вы задали уместный вопрос, ибо право и искусство похожи друг на друга так же, как кулак и глаз».

Она смеётся:

«Право как специальность, а искусство как удовольствие».

«Специальность? Это прозвучало из Ваших уст как-то фальшиво».

— Пауза.

«А Вы?»

«Я уверен, что, собственно, ничего. Сегодня для юного германца возможна лишь одна специальность: ответственность за Отечество. Какую мы беспрекословно и несли четыре года. От этого скверно пытаться отучиться. Это один из глубочайших конфликтов в поколении солдат. Прыжок из траншеи в аудиторию слишком широк».

«Вы не подрабатываете?»

«В колледже нет. Разумеется! Однако я полагаю, что можно научиться чему-то где-либо в ином месте. Более всего даже простейшим вещам. Сама по себе жизнь не сложна. Лишь мы её усложняем. Если не закрывать глаза, то уже можно видеть.

Мы усложняем простейшие вопросы, а потом раздумываем, как на них ответить».

«Вы, вероятно, пишете стихи?»

«Как Вы об этом узнали?»

«Мне так показалось. Это бы было на Вас похоже».

«Да, правда! Временами! Я не чувствую себя профессиональным поэтом или, лучше сказать, писателем. Настоящий поэт — это нечто подобное фотолюбителю жизни. Ведь и стихотворение, в конце концов, — это не что иное, как моментальный снимок из сферы художественно настроенной души. Искусство — это проявление чувства. Художник отличается от не художника тем, что тому, что он чувствует, он умеет придать выражение. В какой-либо форме — один в картине, другой в звуке, третий в слове, а четвёртый в мраморе — или в других исторически сложившихся формах. Государственный деятель — тоже художник. То же, что для скульптора камень, для него — народ. Вождь и масса — это так же не представляет проблему, как художник и краски.

Политика — это изобразительное искусство государства, как живопись — изобразительное искусство красок. Поэтому политика без народа, или даже вопреки народу, бессмысленна сама по себе. Из массы формируется народ, из народа — государство, вот каков непременный глубиннейший смысл истинной политики. Она вовсе не портит характер. Напротив, говорят, что это плохой характер портит политику».

«А сегодня?»

«Ах, сегодня! Это вовсе не политика, то, чем занимаются

сверху. Они лишь обделывают свои выгодные делишки при помощи усреднённого положения народа. Наша так называемая политика больше не опирается на внутреннее отношение к народу. Из-за этого мы, в конечном счёте, обречены на гибель».

«Но разве не стало лучше?»

«Лучше? О, нет, мы сделались хуже. У нас больше вовсе нет чувства чести и долга. На обсуждения выносится лишь жратва. Но тот, кто продаёт честь, тот вскоре потеряет и жратву. Может быть, поздно, но историческая расплата будет жестокой».

«Вы пишете стихи и занимаетесь политикой?»

«Занимаетесь политикой? Лишний вопрос. Занятия политикой — это нечто само собой разумеющееся. Каждый отец, чей ребёнок появляется на свет, тем самым занимается политикой. Каждая мать, растящая из мальчика мужчину, представляет собой политическое существо.

Как ошибочно! Можно быть политиком по специальности; как если бы это было тем, чему можно научиться. А кроме того: эта специальность может быть усвоена и исполнена любым рядовым мотопехоты, безропотно исполняющим свой долг за границей, лучше, нежели парламентскими пустомелями, сидящими в правительственных бюро и держащими речи».

«Ваши суждения очень сложны!»

«Можно проще. Кто желает овладеть жизнью, тот должен так выйти ей навстречу, как она выходит навстречу ему. Жизнь так же сложна».

«Война ужасна».

«Это ещё ни о чём не говорит. Ни один разумный человек в этом не сомневается. Но желать упразднить её означало бы желать упразднить мать, порождающую на свет детей. Это тоже ужасно. Ужасно всё, что наделено жизнью.

Можно лишь проводить профилактические мероприятия на случай войны; они состоят в том, чтобы сделать народ обороноспособным, дабы у других иссякло желание украсть его право на жизнь».

«В Вас живёт поэт и солдат. Вы музицируете?»

«Изредка».

«Не желаете ли Вы завтра во второй половине дня поиграть что-нибудь у меня?»

«Да, очень желаю».

Мы расходимся. Полдень. Солнце раскаляется на серовато-белом асфальте.

При прощании Герта Хольк дарит мне одну из своих гвоздик. Она краснеет и внезапно очень мешкает. Она едва протягивает мне руку, смущённо кивает и вот уже огибает следующий угол.

Художник сопоставим с Богом. Оба придают материи форму.

Художник — это частица Бога.

Да будет свет! И стал свет!

Отрадно ли искусство? Временами оно тяжко и почти невыносимо.

Искусство должно потрясать и возвышать; оно — и одоление, и утешение. Оно не несёт нам никакой выгоды.

Я не прихожу к идеям; я наталкиваюсь на них, как муж Иерихона на Иерусалим.

Времена меняются не сами, люди меняют времена.

Люди творят историю.

Люблю ли я Герту Хольк?

Меня едва ли не пугает грубость этого слова.

Она разделяет мои мысли и делает их свободнее и сознательнее.

Женщина велика, вдохновляя.

Трое мужчин сидят друг подле друга и скучают. К ним приходит единственная женщина — не обязательно красавица — и трое как будто преображены. Они воспаряют духом, и оживляются настроем и умом. Один желает превзойти другого.

Подобно волшебной палочке, женщина прикасается к бытию мужчины.

У меня на столе пылает алая гвоздика на длинном стебле.

Герта Хольк!

1 июня.

Грета Хольк великолепным альтом поёт «Сафическую оду» Брамса. Затем до глубокой ночи я играю экспромт Шуберта.

Под конец Гуго Вольф: «Ты — Орплид[2], моя земля».

«Пред твоей божественностью склоняются короли, твои стражники».

Вся песнь достигает апогея на этом величественном аккорде. Короли склоняются перед божественностью.

В звёздной ночи я всё ещё бесконечно брожу. Во мне отдаются эхом звуки и гармонии.

Под стать новой жизни, пробуждается всё внутри и вовне меня.

Герта Хольк, я люблю тебя!!!

Ночь — моя лучшая подруга. Она успокаивает душевную бурю и возводит путеводные звёзды.

Настал день! Настал и во мне!

Из моей комнатушки я возвожу королевский замок и вижу светлые мраморные колонны.

Война — это простейшая форма утверждения жизни.

Мать изо всех сил растрачивает любовь с тем, чтобы отдать её детям. Ещё за миг до смерти последняя воля в старике сопротивляется и кричит: я не хочу умирать! Борьба — если человек проторяет эту землю. Борьба — если он покидает её, и между этим пролегает вечная война за место под солнцем.

Я уразумеваю моё глубочайшее счастье сознательно только тогда, когда мне вновь и вновь приходится отбиваться от завистников. В общем, ценится лишь то, что завоёвывается или охраняется.

Даже благоденствие должно завоёвываться, и не пальмовыми опахалами, а мечом.

Низвести социализм до организованной трусости — самая тяжкая вина спасителей республики.

Без разницы, что несёт человеческий облик. Только глупцы утверждают это или поступают таким образом, будто бы они глупы. Одни — потому что они в это верят, другие — потому что они этому служат.

Сама природа антидемократична. В целой вселенной не найти двух одинаковых живых существ.

Природа — это вечная, невыносимая наставница жизни. Её нельзя перехитрить. Иногда она некоторое время терпит это шутки ради. Но затем она мстит ещё более свирепой карой.

Изменяться любят её формы, но никак не её внутренняя сущность.

Государство — это обретший форму народный дух.

Народный дух — это сумма всех естественных проявлений жизни народа. Государство — это не что иное, как сознательно организованная защита этих жизненных проявлений. Государство без народа или вовсе враждебное народу — это то же самое, что одежда без человека или одежда, не подходящая человеку; как видно, это само по себе бессмыслица.

Что делает с республикой социализм? Существует социалистическая монархия и капиталистическая республика.

Быть социалистом — означает, что «Я» подчиняется «Ты», личность приносится в жертву общему. Социализм — это, в самом

глубоком смысле, служение. Отказ от частного и притязание на целое.

Фридрих Великий был социалистом на королевском троне.

«Я — слуга государства» — слова короля-социалиста!

Собственность — это воровство: так говорит чернь. Каждому своё: так говорит характер.

Да ведь вы путаете капитал и капитализм! Капитализм — это злоупотребление капиталом. Подлость — это капитал? Нет, подлость — это капитализм!

Credo, ergo sum![3]

С волками жить — по-волчьи выть. Выть? Я, со своей стороны, не намерен.

Если Господь создал меня по Своему образу и подобию, то я частица Его. Господи!

Чем сильнее и возвышеннее я отношусь к Богу, тем сильнее и возвышеннее я сам.

Всё во мне тихо зависло, подобно задержанному маятнику часов.

Теперь часовой механизм завёлся, и маятник со стрелками тронулись.

Всё во мне расслабилось, и мысли мои сделались легки, точно летящая цветочная пыльца[4].

3 июня.

Сквозь моё окно проникает солнце. Я стою, вглядываясь в прозрачное, как стекло, утро. Тогда я даю волю всем моим желаниям и порывам, подобно вольным листьям, веющим в низлежащем цветущем саду.

Так если ты приходишь собирать свои розы, ты их находишь. Тогда возьми их с собой и разложи на своём белоснежном столе. Они будут сладостно благоухать целое утро.

8 июня.

Троица! Все поля в цветах!

Герта Хольк в Бойроне!

К чему все полированные мысли, если человеком овладевает любовь?

10 июня.

В Тутлингене двухчасовая остановка. Я почти не знаю, зачем я отправился в путешествие.

Я должен увидеть Герту Хольк!

Бойрон! Одиночество! Монастырская тишина!

На пыльной просёлочной дороге — яркое полуденное солнце.

Я долго сижу и дожидаюсь Герты Хольк. Только под вечер она возвращается домой с прогулки. Она замечает меня. Разочарование, изумление. Смущение, а затем радость на её лице, безмерная радость. Мы здороваемся, как старинные друзья. После ужина мы сидим в церкви, в тихом укромном уголке. Как будто издалека улавливаем мы молитвенное пение. Монахи совершают своё вечернее богослужение. А затем наступила тишина, поразительная тишина!

Солнце уже закатилось.

Далеко и широко не слыхать ни звука. Мы тоже молчим.

Мне думается о красных летних деньках дома. Там я мальчишкой на долгие часы убегал в поля, чтобы совсем вплотную увидеть заход солнца.

Где-то запирается дверь. Мужской, затем женский голос. Детская молитва! О, мой возлюбленный Иисус! Затем снова становится тихо. Поразительно тихо!

Ночь возлагает свои широкие, чёрные крыла на землю.

«Здесь я сижу каждый вечер, и, кажется, будто это затишье перед бурей».

Пауза.

«Снаружи мы суетимся весь день напролёт».

«И ничего не слышим в водовороте этого дня».

«И затем внезапно дивимся тому, что мир столь торжествен и тих».

«Мы сделались несчастными, измученными и изорванными внутренними противоречиями людьми. На наши сердца обрушилось время».

«Но всё же мы стремимся к избавлению».

«Сколько же мы уже перенесли! И сколько ещё нам предстоит перенести. Хвала Господу, что мы молоды».

Мы сидим и молчим. Стало заметно прохладнее. Неторопливо мы уходим домой.

«Доброй ночи, и спите хорошо».

После паузы:

«Сегодня Вы доставили мне большую радость».

Затем она скрылась наверху.

Я стою и гляжу, вглядываюсь в раскинувшую звёздный свод ночь. Надо мной открывается окно. Мне показалось, что я слышу собственное дыхание.

Как тиха эта ночь.

Где-то горит свет. Вот он гаснет. Как серая глыба покоится подо мной монастырь. С башни бьёт два часа. Я ложусь на постель в одежде.

Ночь здесь!
Я лежу
И, мечтая, дремлю
С глазами, отворёнными
К тёмным глубинам.
Пьянящий аромат
Вдыхаю я, как в жажде.
Где-то
Поёт соловей.
Я жду, жду, жду.
Доброй ночи, Герта Хольк!

11 июня.

Она отказывается со мной в монастырь. Я иду в сопровождении святого отца длинной, знакомой дорогой. По стенам — нежная, тонкая монастырская живопись, бойронское искусство. Изысканные линии, какая-то матовость в красках. Диковинная притягательность!

В библиотеке книга на книге.

Святой отец за работой. Он не поднимает лица. Оно узкое и бледное, с остро отточенными чертами.

Я выражаю признательность моему проводнику. Он подаёт мне руку. Славься Иисус Христос!

Снаружи ясное утро. Ночью был дождь, а теперь повсюду витает аромат свежести и цветения.

Герта Хольк, стройная, стоит в белом платье возле монастырских ворот. Странный контраст!

Прогуливаясь, мы направляемся в поля, до полудня сидим на горном склоне, откуда просматривается вся долина.

Мне хочется сказать. Она глядит на меня: умоляюще, вопросительно, едва ли не клятвенно. Молчи! Не надо! Я понимаю. Мы уходим домой.

После обеда я изучаю расписание и в три часа уезжаю. Она отправляется проводить меня до станции.

На прощание она дарит мне маленькую картинку бойронской школы «Ессе Homo»[5]; прекрасные гибкие линии, ясные и простые. Подарок становится для меня подобным талисману.

Последнее рукопожатие, последние кивки.

Я ещё долго гляжу на неё из окна своего купе, как она шаг за шагом, осмотрительно, со склонённой головой поднимается на улицу.

С обеих сторон поезда — поля, колосья и цветы. Как будто бы я проезжаю сквозь сплошной цветущий сад.

12 июня.

Я сижу в отеле «Лев» в Линдау и долго смотрю на далёкие, зеркальные воды Боденского озера.

Я думаю о Герте Хольк.

Затем я брожу тесными переулками между узкими линиями старых домов.

Во время обеда я любуюсь озером. В отеле много народу. Дамы восклицают, визжат, смеются и судачат.

За моим столом сидит русский студент. Он едет со мной до Мерсбурга.

Наш корабль отходит в три часа.

13 июня.

Мерсбург: Я проживаю в маленькой гостинице совсем рядом с замком. Здесь жила Аннетте фон Дросте. Широкой улицей я восхожу к кладбищу. Маленькая могила, окружённая железной решёткой, обыкновенный камень, повитый плющом. Здесь покоится германская поэтесса.

«Анна Элизабет фон Дросте-Хюльсхоф» Хвала Господу!» выбито на камне.

На могиле лежит букет красных роз.

«От вольных студентов из Мюнхена в благодарность великой поэтессе» гласит подпись на нём.

Я осматриваю её комнату в замке. Здесь всё ещё парит аромат строгого целомудрия. С балкона я гляжу на озеро, которое сейчас тихо покоится в убывающем солнечном свете. Здесь часто хочется остановить взгляд и перекинуть тоскующий взор на белые

Швейцарские горы.

За ними лежит Италия!

Я беру лодку и долго скольжу на ней по озеру. Солнце село.

Я погружаю
Вёсла
И бесконечно иду
Будто бы к вечному
Побережью.
Лунный свет играет голубизной
На моих парусах.
Мой чёлн скользит
В надёжную гавань.
Лишь тихо бьются волны
О его борта.
Глубочайшая тишь
Вокруг меня,
И душа моя
Развёртывает золотой мост
К звезде.

14 июня.

Мне хочется отдохнуть здесь пару дней. Сосредоточенностью дышит каждый камень и каждое дерево. Меня утешают мысли о человеке, жившем и писавшем здесь стихи. Я счастлив и доволен.

Я думаю о моей радости, Герте Хольк!

Целое утро сижу я на озере и размышляю о глубиннейших вещах. Я беседую с глазу на глаз с Богом.

И мне думается, что истина, в конечном счёте, должна пересилить ложь.

В мои лучшие часы я верю в самого себя.

Не имеет большого значения, во что мы веруем; главное, чтобы веровали.

При этом прежняя вера во мне должна быть разрушена — весь её мир. Мне нужно сровнять её с землёй. Тогда я возведу новый мир. Я начну с самого низа и возложу кирпич на кирпич. Так я и делаю в тяжкие часы. Я борюсь с самим собой за иного Бога.

Я слышу Бога в шуме листвы. В вечных изменениях я нахожу Его господство. Утром, когда восходит солнце, я обращаюсь к Нему в молитве.

Перед Богом важно качество.

Бог — это воля, а воля любит Бога.

Мой Бог — это Бог сильных. Ему не любы испарения ладана и позорные поползновения толп.

Я стою перед Ним с гордо поднятой головой, таким, каким Он меня создал, и признаю себя радостным и свободным перед Ним.

Истинный германец всю свою жизнь остаётся богоискателем.

Жалок довольствующийся.

Русского зовут Иван Войнаровский; студент философии в Мюнхене. Он занимает в гостинице комнату рядом. Мы сидим вместе и разговариваем. Он рассказывает о России. Какое шикарное национальное чувство; русские верят в своё будущее.

Он одалживает мне «Идиота» Достоевского. Поздно ночью мы расходимся.

Моё окно открыто. Снаружи перед гостиницей купол липовой кроны. Она тянется ветвями ко мне в комнату. Сквозь неё светит луна и разрозненными бледно-жёлтыми пятнами разливается на пол.

Всё вернулось в состояние покоя. Лишь внизу на скамейке под липой сидит влюблённая парочка и болтает, хихикая и смеясь.

15 июня.

Герта Хольк пишет мне:

«Через несколько дней мы увидимся снова, просветлённые, укрепившиеся и исполнившиеся мужества для борьбы и свершений. Мне недоставало Вас здесь. Почтите от меня мою землячку, славную Анну Элизабет фон Дросте-Хюльсхоф. Я снова тоскую о благоденствии в мире. Но, вероятно, мы, люди, бесприютны на этой Земле, ибо нигде не можем найти покой.

Я искала здесь сосредоточенность и ясность, и нашла. Я снова обрела веру. Нам, молодым, не следует унывать, пока мы верим в наше предназначение. Глубок смысл слов: «Лишь только вера делает счастливым»».

Я возложил букет полевых цветов на могилу Аннетте.

Прекрасное воскресенье. Я покачиваюсь в лодке на зеркальных водах Боденского озера и читаю «Идиота» Достоевского.

Князь Мышкин — неудержимый, не поддающийся учёту человек, «идиот». Но он — русский, и в этом его собственная великая драма.

Христианство — это религия не для многих, тем более не для всех. Лелеемая и воплощаемая немногими она — изысканный цветок, могущий расшевелить культурную душу.

Горячая, порывистая, внезапная, безмерно гнетущая, ждущая, надеющаяся, бесконечно злая и бесконечно добрая, исполненная глубочайших страстей, благосклонная и нежная, фанатичная во лжи, равно как и в правде, к тому же обильная бездонностью, весельем, юмором, болью и тоской: такова душа славянина; душа русского.

Достоевский несётся от страсти к страсти, от проблемы к проблеме, от бездны к бездне. Пылкая боль и пылкое наслаждение. Люди в искажённых формах, противоестественность и порода, порочность, пучина и гениальность, безумие и идиотия; ясность рассудка и подобная солнцу чистота способна искажаться вплоть до болезненной смехотворности. Таково его произведение.

Великая расовая душа в судороге рождения или смерти. Он способен будто бы стоять у койки больного. Способен чуять воздух нависающей беды.

Достоевский опередил своё время на несколько рискованных шагов вперёд. За ним следуют смятённо, боязливо, без веры; но следуют. Он не выпускает — остаётся следовать.

Здесь мы находим всё: натурализм, экспрессионизм, идеализм, скептицизм, и выводим из них все прочие «-измы». И, тем не менее, не приходится говорить о чём-то его собственном. Достоевский знает это только по названиям.

Он пишет так, как он видит, так, как выжигает в мозгу и в душе его демон, его дьявол. Он пишет, поскольку только это давало возможность являться кем-либо в девятнадцатом столетии. Политическое всё ещё оставалось в зародыше. Он пишет, потому что любовь к России, ненависть к врагу, к западу, выжигает ему душу.

Можно просто принять его за уникума. Он приходит из ниоткуда и следует в никуда. И при этом он стабильно русский.

Его романы — грандиозные баллады. То, что остаётся в стороне, смешно, малозначимо, несущественно, подчас пусто. Всё можно найти между строк.

Наконец, он позволяет догадаться и осязать то, что ему хотелось сказать.

Блёстка, хлам и мишура, форма и символ, из-под которых вырывается народная душа.

Иван Войнаровский смеётся, когда я говорю ему всё то, что я с трудом охватываю здесь словами. Для него это его символ веры, его евангелие.

«Мы веруем в Достоевского так же, как наши отцы веровали во Христа» — заявляет он.

Громадной проблемой Европы является старая и новая Россия. Россия — это прошлое, быть может, будущее, но никак не настоящее. Так как российское настоящее — это всегда мыльная пена, скрывающая сильный яд. На русской земле зарождается раскрытие её великой загадочности. Это чреватый будущностью дух Достоевского, носящийся в воздухе, над покойной, сонной землёй. Когда Россия пробудится, мир станет свидетелем национального чуда.

Национальное чудо? Да, это так. Политические чудеса только национальны. Интернационал же — это лишь рассудочное учение, направленное против крови. Чудо народа никогда не пролегает в его мозгу, но всегда в его крови.

То, что называется интернационалом в России — всего лишь мешанина из еврейского крючкотворства, малодушного кровавого террора, безграничной терпеливости широких масс и поднявшегося, благодаря чудовищной воле, в сферу мировой политики одного человека: Ленина.

Без Ленина большевизма не существует.

Опять же: историю творят люди. Но люди бывают и скверные.

В России освободили крестьян. Освободили ли? Да, в известной мере, поскольку иначе было невозможно. Но это уже не марксизм.

«Собственность — это воровство!» — утверждает настоящий классовый борец. Ленин дал каждому русскому крестьянину землю во владение. С тех пор в России живёт сто миллионов собственников.

Когда Иван Войнаровский говорит, он кажется совершенно мягким и застенчивым; но в его словах горит скрытый демонизм. Мы спорим час за часом.

16 июня.

Рихард пишет: «Мир — всего лишь большой театр: Всеблагой Господь — директор, короли, князья, государственные деятели и капиталисты — его режиссёры, поэты и деятели искусства — актёры, а мы — статисты: закон о денежном довольствии 5».

Во дворе гостиницы двое тучных старших преподавателей, прибывших из Рейнланда. Войнаровский язвительно замечает: такой тип может быть взращён только в Германии. Это звучит неприятно и ни о чём не говорит.

Хотя такой тип во многом виновен в наших бедах, но он всё же имеет место быть.

Мы, германцы, слишком много думаем. Тип германского образованного филистера лишает нас политического стремления.

Мы интеллигентнейший, но вместе с тем, к сожалению, и глупейший народ на свете.

Войнаровский рассказывает о войне и о русской революции. Он говорит устало, почти вымученно, и порой мне кажется, будто бы он сердит на меня. Но это лишь его злоба на Россию.

Я говорю о грядущей Германии. Он не желает верить мне относительно того, что мы до сих пор обладаем волей и возможностью для возрождения силы германских духа и воли.

Русские зря настроены против нас. У них нет для этого основания.

Иностранцам ни к чему выискивать в Германии никакой скрытой вражды. Мы, молодые, в начале, разумеется, только мыслим, но постепенно мы созреваем для действия. Дайте только время. Мы ещё не готовы.

Мы, молодые, пробуем себя наперёд. После войны мы долгое время были притуплёнными и остолбеневшими. Но сегодня всё снова подвижно, как река.

Широкие массы? Ах, они никогда не волнуются. Революции — а всё, что мы сегодня переживаем, это широко задуманная культурная революция — всегда будут делаться одиночками. Массы потянутся за ними.

Революция — это творческий акт. Она преодолевает последние рудименты рухнувших эпох и расчищает свободный путь будущему.

Война послужила началом нашей революции; но посредством войны же она не была доведена до конца.

К своему концу она оказалась сфальсифицирована, перевёрнута, испорчена, и потому перво-наперво потеряла молодёжь.

Речь идёт вот о чём: труд бунтует против денег. Основа труда — это кровь, основа денег — золото. Война явилась первым актом

той революции двадцатого столетия, в которой труд двинул маршем против денег. На нас возложено победить во втором или в третьем акте.

Сперва революции создают новых людей, затем новые времена.

В истоке переворота стоит тип человека-революционера, а не какое бы то ни было социальное бедствие. Оно следует после. Революционер содействует ему ради достижения своих властно-политических целей.

Необходимо разрушить старое, чтобы утвердить новое. Нельзя освободить труд и при этом сберечь деньги.

Солдаты вернулись с великой войны домой и перезарядили свои винтовки волей к новому государству. Но по ту сторону границы спекулянты уже склеили из обломков старой Империи новое бесхребетное нечто. Для защиты от этого воины выставили свои штыки.

То, что мы проиграли войну — это не самое худшее. Но если мы обманемся с революцией — это явится катастрофой.

17 июня.

Я в последний раз прихожу к могиле Аннетте. Потоками льёт дождь.

«День выдался ураганным и дождливым».

Во мне звучит Брамс. Я прощаюсь с Мерсбургом.

Войнаровский остаётся ещё на несколько дней. Мы протягиваем друг другу руки. «До встречи в Мюнхене». «Идиота» он дарит мне на память. Подписывает спереди характерным прямым почерком: «Иван Войнаровский. Москва».

Бьёт корабельный колокол. Мерсбург исчезает в сером дождливом дне.

Моё сердце бьётся чаще: завтра я снова буду в городе.

Герта Хольк!

Констанц; старое соборное строение, Хусс-хаус. Я стою на причале в тоске по морю. Вокруг меня кипит работа и суетятся люди. Дальше, дальше!

18 июня.

Ликование! Хоэнтвиль! Несносный грубиян Эккехард! Воспоминания о счастливых годах учения в старших классах.

Брезжит вечер. Надвигается сквозь тёмные ельники. Там загорается свет. Город!

Я прибываю поздней ночью. Как вторая родина. Я прохожу мимо её дома. Окно её открыто. Стало быть, она там. Я на миг останавливаюсь.

На столе у меня лежит записка: «Я жду Вас завтра утром и очень обрадована. Герта Хольк».

До смерти уставший, я падаю в постель.

Дома!

19 июня.

Праздник Тела Господня! По улице движется процессия. Краски, флаги, пение, молитвы. Дети в белых одеждах, девушки в шварцвальдских национальных костюмах с разноцветными платками, серьёзные, полные достоинства мужи и старые матроны.

Надо всем этим солнце и тёмно-синее небо.

У монастыря я замечаю её. Стыдливость и смущение.

«А вот и Вы здесь!»

«Да!»

«Какой замечательный летний день!»

«Да, и какие все люди торжественные».

Пауза.

Как ты хороша, Герта Хольк!

Пополудни мы уезжаем.

Сквозь летний зной и пыль.

А затем настаёт долгий вечер, исполненный безмолвия.

Покой! Безмятежность!

Моё сердце исполнено благодати, и я желаю только, чтобы замерло мгновение.

21 июня.

«Вы, Михаэль, идеалист и в Вашем отношении к женщине тоже».

«Я принимаю вещи такими, какими они ко мне обращены.

Прежде чем убедиться во зле, я верю в доброе начало. Но я поступаю так, руководствуясь не рассудком. Я просто чувствую».

«Вы один из немногих людей, кто в частностях усматривает целое. Вы мыслите связно, я бы скорее сказала, органично. Притом, однако, Вы иной раз упускаете малое и кажущееся незначительным, рискуя вследствие этого ошибиться. Иногда это производит впечатление такого свойства, как оторванность от жизни. При этом Вы часто проходите мимо принципиальных вещей.

Жизнь так разносторонняя».

«Я думаю и поступаю так, как мне следует думать и поступать. Так же поступит каждый, кто не принадлежит к стаду. В нас действует некий демон, который ведёт нас означенным путём. Противостоять этому невозможно. Так-то вот».

«Вы и о политике мыслите искусствоведчески. Это опасно для частной жизни и преуспеяния».

«Какое такое преуспеяние? У меня всегда есть две здоровые руки для того, чтобы трудиться».

Пауза.

«Даже женщину Вы видите иной, нежели она есть. Они принаряжаются так, чтобы расположить Вас к себе. Поэтому однажды Вы останетесь безгранично разочарованы. Женщина — ни ангел и ни дьявол. Она — человек, и в большинстве случаев — незначительный. И к тому же у неё незавидная доля. Если мужчина управляется с жизнью, то она управляется с кастрюлями. Многие из лучших женщин сегодня выступают против этого. Но такое им не подходит. В конце концов, они всегда возвращаются назад к своим кастрюлям. Это ужасно».

«Но есть же отважные женщины, которые стремятся от этого прочь, и потом: их высшее призвание — это давать жизнь детям, что включает и мужчину».

«Давать жизнь детям? В наши-то дни? Да ведь Вы же почти противоречите самому себе. Какая мыслящая мать будет со всей ответственностью производить на свет детей, которым даже не гарантирована самая тривиальная жизнь?»

«Это ложный вывод. Мать, родившая детей, должна иметь мужа, охраняющего жизнь детей, а если это исчезнет, завоевать…».

Можно подумать, это легко изменить. Это верно только если весь народ думает схожим образом. Отдельный человек вымотан своей борьбой на сопротивление, которую целая нация осилила бы играючи. Теперь наш народ больше так не считает. Его дух сопротивления без толку истёк кровью за четыре года войны».

«Без толку? Нет! Он только теперь и проявляется. Война

явилась великой манифестацией нашей воли к жизни. И если мы опять не достигли нашей цели, эта задача сегодня снова лежит перед нами во всей своей ответственности перед судьбой. Если бы наш народ не так много думал, ему бы не пришлось постигать эти идеи заново».

«Проще сказать, чем сделать. Кто станет?»

«Мы все!»

«Мы, может быть, Вы?»

«Именно.

Я уже давно ощущаю этот необходимый долг, но пока ещё не нахожу, как его выразить. Мне кажется, уже появился некто Великий и созревший; однажды он встанет среди нас и начнёт проповедовать веру в жизнь. Многие чувствуют то же, что и я, но только один сможет это высказать. Это нечто грядущее. Это предчувствуют все, кто связан с современностью своими душевными силами. Придёт единственный! У меня нет ничего, кроме этой веры, и я не знаю, зачем жить во имя чего-то иного».

«Об этом так легко говорить. Этим единственным станете Вы, и он непременно принесёт в жертву последние цветы нашего юношества».

«Гении расходуют людей. Это снова верно. Но, к тому же, это и отрадно: не за себя, а за свою задачу. Можно истощить юношество, если посредством его освободить пути к свободной жизни для нового юношества. Кроме того, не имеет смысла осуждать это; оно само развивается с неизбежностью. Юношество, которое не всегда готово безропотно и жертвенно напрячь свою жизнь во имя будущего, это уже не то юношество.

Этим юность отличается от старчества. Старчество владеет, а владелец охраняет своё владение. Он не видит необходимости в нападении. Нападает только лишившийся. Да, обременённое полнотой власти, старчество в большинстве случаев даже боится оказывать сопротивление».

«А нас, женщин, Вы хотите полностью исключить из этого?»

«Да, до определённой степени. Задача женщины жить и приносить на свет детей. Это вовсе не так дремуче и несовременно, как об этом толкуют. Птичка приукрашивается для мужа и высиживает для него яйца. Мужчина взамен заботится о пропитании. Или же караулит и отбивает атаки врага».

«Как реакционно!»

«Что значит реакционно? — это всего лишь острое словцо. Я не выношу зычных женщин, которые везде и всюду вмешиваются, не имея о том какого-либо понятия. При этом они чаще всего забывают свою собственную задачу: воспитывать детей. Если современное равнозначно неестественности, разврату, гнилой

морали и планомерному разложению, тогда я сознательный реакционер.

Быть современным означает не что иное, как наполнять меняющиеся новые формы вечным содержанием. Что я и осуществляю.

Я ограждаюсь от того, чтобы принимать науку о том, что современно, от упадочного газетчика. Для того, чтобы понять это, мы, юноши, испытали слишком много, большей частью вопреки этим строчкогонам. При этом они рождали в нас омерзение и импульс. В то время как весь народ лежит на смертном одре, его прогнившая интеллигенция определяет то, что современно: кино, монокль, женская стрижка под мальчика, гарсоны. Благодарю покорно».

«А всё же логично изложено».

«Мне тоже так кажется.

Это то, что даёт нам, юношам, эту непобедимую силу; то, чего полностью не достаёт нашим соперникам: логика суждений. Наше мировоззрение не измышленное, оно живое, и поэтому оно выстаивает перед жестокой, тяжкой жизнью».

«Вы называете это мировоззрением? Это простейшее, сырое учение о бытии?»

«Так точно! Мировоззрение это когда я стою на твёрдом убеждении и рассматриваю под его совершенно отчётливым углом зрения жизнь и мир. Это не имеет ничего общего со знанием или образованием. Если убеждение верно, а угол зрения прям, значит, мировоззрение ясно и чётко, а если нет, то оно туманно и скверно».

«У Вас всегда тяжело на сердце».

«Не то что бы я этого хотел. Но хорошо, если это так. У нас нет основания принимать жизнь с лёгкостью. Она сама тяжела».

«Да, очень тяжела».

«Лучшее, что может сделать человек, это крепко держаться за самого себя. Всё иное переменчиво и улетучивается под натиском бед, как плевелы под натиском ветра».

«А великий Неизвестный? Господь?»

«Господь помогает храбрым и сражает трусливых. Имеется ещё иной странный бог, который стоит на стороне трусов».

«Тогда мы должны быть храбры и смотреть в неумолимые глаза жизни».

«Да, должны».

Мы оба умолкаем, а затем говорим о незначительных вещах.

Герта Хольк говорит о незначительных вещах, но в её устах они приобретают обличье и форму. Она говорит объёмисто и осязаемо.

Она — реалистка.

25 июня.

Тихий летний полдень!

Солнечный свет разливается по сочно-зелёным горам. Во впадине внизу город.

Блещут красные крыши.

Ветер едва слышно ходит по вершинам, бродит задумчиво по лугам.

На заднем плане темнеют ели.

Мы сидим на откосе и читаем книгу о седой старине и о крепком человеческом настоящем

— «Зелёного Генриха»[6].

Гордая Юдит, прелестная Анна!

Глава подходит к концу. Выжидание, молчание, тишина!

В траве жужжат тысячи насекомых. Трава благоухает пряностью.

Всё вместе создаёт единый тон беззвучия природы.

Я целую Герту Хольк в её податливые восторженные уста; и мы оба пристыжены.

В траве жужжат тысячи насекомых. Трава благоухает пряностью.

Тихий летний полдень!

Солнечный свет разливается по сочно-зелёным горам. Во впадине внизу город.

Блещут красные крыши.

Ветер едва слышно ходит по вершинам, бродит задумчиво по лугам.

На заднем плане темнеют ели.

Герта Хольк!

Гордая Юдит!

Прелестная Анна!

Домой! Солнце заходит.

В душе я потрясён и взбудоражен.

На улице мы прощаемся. Её глаза — две огромные серо-зелёные загадки.

Я несу своё счастье, как сладкое бремя.

Ночь!

Я блуждаю полями и лугами. Дышу ароматом диких роз.

Уединённость!

Я испытываю тоску по чему-то, о чём не знаю, как сказать.

Жёлтый лунный свет переливается по дорогам.

Я возвращаюсь в город. На каждой садовой ограде покоятся светло-алые розы. Я срываю их всё больше.

Я стою у окна Герты Хольк. Тёмная тишь!

Слышу ли я её дыхание? Я жду дальше.

Стебель герани дрожит на её окне.

Я кладу букет алых роз на её подоконник.

Блаженное возвращение на покой!

И вдруг меня преисполнил порыв тоски.

Глубочайшая услада обратилась глубочайшей болью.

Я шагнул в новый мир:

На ступень выше!

Во мне появились стремление и тяга к новым целям и свершениям.

Во мне сосредоточились все силы для открытия в себе неизведанных дарований и благих качеств.

Ночь поворачивает на день!

Благословенный час!

26 июня.

У Герты Хольк алая роза на груди.

29 июня.

Я чувствую, как во мне
Взрастает слово за словом,
Мысль множит ряд за мыслью,
Пока, наконец, не свершается акт творения.
Священный час рождения,
Ты боль и услада
И порыв тоски
По форме, обличью и существу.
Я лишь инструмент,
На котором древний Бог
Свою выводит песнь.
Сосуд я лишь готовый,
Который природа со смехом

Наполняет новым вином.

1 июля.

Щедрость — нелёгкое искусство. Лучше всего усвоил его тот, кто скорее застесняется сам, нежели помыслит, что стеснит своей щедростью другого.

Герта Хольк щедра, как боги, она не раздумывает, не делает исключений; лишь ликование от отдачи и обилие доброты.

Её руки — руки богини изобилия.

Она отдаёт и забывает о том, что отдала.

Этот дневник — мой лучший друг. Ему я могу доверить всё. Никому иному я не могу сказать столько всего. И, надо признать, иначе я бы никогда не мог высвобождаться от того, что выжигает мне сердце.

Старое должно отойти, чтобы уступить место новому. В человеческой душе не достаточно места для того, чтобы старое и новое продолжали жить в ней вместе. Поэтому время от времени необходимо выносить старый хлам наружу.

Этот дневник для меня сродни мансарде, куда можно сложить какие-то более не занимающие вещи, чтобы они, так сказать, не мешались на пути.

Иногда я перечитываю прежние страницы, иногда черпаю оттуда мысли, снова насущные для моей головы и сердца.

Действительно, похоже на рыскания в старой мансарде!

А вот и Рихард!

Старина Гёте: он был так во всём точен. Потому-то он и написал так много, что так вовремя всё успевал. Порочный круг. Кружись, как хочешь, круглым он и останется.

Я люблю углы, грани и трещины.

Я выкладываю перед ним портрет Достоевского. Какой надрывистый, какой морщинистый и точно рубленый!

Так же выглядит Микеланджело: лик мученика и пророка!

Муж, борец, страдалец, победитель, пророк, идиот, герой и поэт: так выглядят они все. Лицо Гёте прекрасно: благородно, совершенно, чеканно. Как произведение искусства, как блестящая идея: любимец богов!

Бетховен выглядит отвратительно. Но его лицо дорого мне так же, как лицо моей матери.

Рихарду не нравятся молодые. Он называет их зачинщиками

возни.

В чём-то он прав. Молодые литераторы много говорят, и они неделикатны. Они злоупотребляют словами. Это грешно.

Символ божествен. Божествен потому, что предвосхищает, а не указывает напрямик. Кричащие молодые литераторы низводят Священное до современной низменности.

Существуют вещи, которые невозможно выразить. Обычно они наиболее глубоки и наиболее прекрасны. Любые попытки их высказать выглядят плоско и пошло.

Искусство без изыска — корм для свиней.

Деньги, которых у меня нет, но которые мне необходимы для удовлетворения минимальных ежедневных потребностей, — эти деньги вызывают у меня приступы тошноты.

Жизнь стала бы существенно проще, если бы можно было вернуться назад к её первоначальным предписаниям. Наибольшее, что создаёт в ней проблему, — это взятая за истину бессмыслица. Сердце играючи решает то, над чем веками бьётся разум.

4 июля.

Мы с Гертой Хольк едем в Шварцвальд.

Хинтерцартен!

Хмурое, дождливое время пополудни. Мы следуем широкими улицами.

Чёрные леса окутаны туманом. Мы шлёпаем по грязи. Дождь хлещет нам в лица. Полностью вымокшие, мы приходим в маленькую гостиницу.

Мы ужинаем вместе с семьёй. Тепло и уютно. Снаружи вода заливает оконные стёкла.

Мы единственные гости.

Вечером мы сидим у окна и сморим на дождь снаружи.

Герта Хольк что-то рассказывает.

5 июля.

С утра проясняется, но всё ещё прохладно и сыро.

Дальше — в горы!

Там лежит деревушка. Подъём наверх! Мы снимаем жильё.

Прекрасный послеобеденный час! Почти как осенью. В природе чувствуется какая-то усталость.

Хозяйка недружелюбна и грубовата.

Поутру мы двинемся дальше.

6 июля.

Брайтнау! Мы нашли простенькую, опрятную гостиницу. На источнике во дворе мы смываем пыль с одежды и рук; сегодня воскресенье.

Уже в полдень нестерпимо жарко.

В коровнике мычание. Мальчонка выгоняет стадо.

Июль! Воскресный послеобеденный час! Работа прерывается на отдых.

С пашен поднимаются горячие испарения. Подобно долгим волнам, колышутся хлеба.

На улице тишина. За позолотой колосьев мы видим деревенские дома.

Ветер нежно гуляет сквозь стебли.

Я нахожу колосок, подобный тебе, Герта Хольк. Он высок, строен и легонько склоняет голову.

Как тут тепло!

Мы лежим в пёстрой уединенности поля.

Тишина! Безмолвие!

Мы слышим, как теперь и потом с недалёкой колокольни бьют время.

В церкви поют дети. Им аккомпанирует тонкий орган.

Затем снова воцаряется тишина.

Гудят пчёлы.

Вечер! Ветер приносит прохладу.

Раскалённое пекло на дороге и в поле.

Ave-Läuten![7] Отблестевший день подходит к концу.

Когда на летний день
Падёт закат,
Мир золотом объят,
Снопы стоят.
Лишь ветер дунет сквозь
Колосьев ряд,
И как прекрасным сном
Весь мир объят.

8 июля.

Меня не покидает великая драматичная мысль; она полностью сложилась в голове, лишь провисает окончание.

Проблема нашего десятилетия: начинать, но не достигать конца. Желать, но не мочь.

Это что-то колеблет во мне. Любовь приносит вдохновение.

Каждый незаурядный человек определён где-нибудь когда-нибудь исполнить предначертанное.

Мне хочется написать о том, чего бы я добился в великие, тяжёлые часы собственной жизни.

Рихард был дома. Он передаёт мне привет от матери.

Герта Хольк способствует постоянным сменам силы и радости во мне. Мне никогда не отблагодарить её сполна.

12 июля.

Я беседую наедине со Христом. Я полагал, что превзошёл Его, но таков удел лишь жрецов, увидевших в Нём кумир и Его фальшивых телохранителей.

Христос твёрд и непреклонен.

Он плетью выгнал торгашей из храма.

Он объявил войну деньгам.

Если поступить так в наши дни, можно угодить в тюрьму или в дом для умалишённых.

Мы все больны. Лишь борьба против тления могла бы нас исцелить.

Лицемерие — вот типичный признак отживающей бюргерской эпохи.

Господствующий слой выдохся и более не обладает мужеством к новым свершениям.

Наш народ отравлен интеллектом.

Герта Хольк смотрит на меня и покачивает головой.

15 июля.

Рихард называет меня мечтателем.

По ночам я бессонно лежу и сдерживаю в себе напор сил.

Во мне бьётся волнение, мятеж, революция.

Идея перерастает во мне в грандиозные формы.

Пляска смерти и воскресение мертвых.

18 июля.

Мне таково, будто я никогда не жил в этом мире. Я неистовствую в опьянении, в грёзах, в гневе.

Я предчувствую новые миры.

Во мне возрастает простор.

Дай мне, Господи, слов выразить мою скорбь.

Я читаю изречения Ницше, «Весёлую науку».

Жизнь этих дней полна отчаяния.

Судороги, полыхающее беспокойство, распря с Богом и с дьяволом, война за духовное существование.

Почему я не нахожу осуществления?

Я желаю получить успокоение и дождаться избавления.

Я что-то предчувствую в себе.

Величие можно обрести лишь в творческом уединении. Настанет и мой час.

Мысль переходит на марш.

Я снова верю.

25 июля.

На меня снизошло озарение.

Я пишу драму. Её герой — Иисус Христос.

Теперь я спокоен и исполнен счастливого вдохновения.

Теперь для меня всё ново и неизведанно.

Теперь я способен переживать цветок, стихотворение, картину.

Я благодарю Бога!

27 июля.

Рихард уехал. Домой!

Здравствуйте, мама, деревня, просторные, тихие долы и знакомая дорога за церковью, где цветут вербные серёжки.

Семестр подходит к концу. Последний вечер провожу я с Гертой Хольк.

Прощание! До встречи!

Я изменился.

Она уезжает в красноцветную страну.

«Я возьму с собой всё то, чем Ты укрепляла меня, и доброту, которую Ты дарила. Всего доброго».

30 июля.

Я последний день в городе. Один. Мне отвратительно.

В моей комнате в беспорядке чемоданы и ящики.

На открытке последние слова от Герты Хольк: «От силы, что растрачивала я, взрастёшь ты. Это отрада для того, кто может любить — приносить жертву».

Я еду на море. Шум моря! Одиночество! Бесконечность! Так и мысли станут великими и ясными, как море.

31 июля.

Поезд выезжает из города. Здесь Шлоссберг.

На мои глаза наворачиваются слёзы.

Дальше, дальше!

1 августа.

Едем через Коленгебит. Родные края Герты Хольк. По оконным стёклам шлёпает дождь. Серый туман! Дым! Шум! Грохот! Стон! По небу бьют огни!

Симфония труда!

Грандиозное творение рук человеческих!

Вы, мои братья в шахтах и цехах! Я приветствую вас!

Равнина! Тучные травы лугов! Пасутся стада.

Днём проясняется, пробивается солнце. Окно на полную.

Кажется, пахнет солью.

Я стою у окна. Моё сердце колотится так, что готово разорваться.

Всё во мне — ожидание.

На север! «Через пять минут!» — смеясь, говорит какая-то дама.

Там, в дали что-то подступает. Синее — серое.

Безмерность! Это море!

Талатта![8] Мне хочется кричать.

Так приветствовали море греки.

Талатта! Талатта!

В яхте. Волны брызжут по лицу и по рукам. Как упоительно!

Качка. Земля исчезает в сумерках. Солнечный шар закатывается в безразмерность.

Вдали точка, полоса. Земля. Лодочник объясняет, повернувшись ко мне:

Остров!

Укромный! Одинокий!

В яхте, окружённой морем.

Остров!

Благословенная земля.

«Я немыслимо воспламенён!»

2 августа.

Ночью свои неистовые песни навывал в иллюминаторы шторм.

Теперь всё стихло.

Сереет утро. Над морем-океаном проплывает бледно-розовое облако.

Ещё немного, и восходит солнце.

Верной дорогой белого дюнного песка я направляюсь к морю.

Сколько росы выпало этим утром!

Вдалеке волны бьются о берег. Слышится монотонный гул.

С высоты дюны далеко видно море.

Выжидающее, коварное, могущественное! Таково оно!

Я усаживаюсь так, чтобы глаз мог охватить безмерную поверхность.

Совсем поодаль качаются белые бакены. Там начинается открытое море.

Видно, как бьются волны. Они подступают ближе и ближе, а затем, легко колеблясь, устилают побережье.

Водная поверхность светится почти сине-фиолетово. Пахнет травой и водорослями.

Я спускаюсь к берегу. Прилив. Я вижу его впервые.

Как вечное возвращение.

На плотине совсем пусто. Я дохожу до воды, и мне каждый раз приходится отступать, когда находит прилив.

Там и тут бурление валов.

Вот волна поднимается, пена брызжет мне в лицо, я пробую на вкус соль.

Я стою и смотрю, пока продолжается прилив.

Волны ходят над оградительными укреплениями, вспыльчивые, порывистые, будто в яростном гневе.

Пена брызжет белизной.

Вода отступает, затем с неслыханной силой снова пробивается вперёд.

Необъятная природа!

Как ничтожны мы. Людишки!

На берегу играют дети, стоят домики и крепости.

Сурово и задумчиво узким путём проходит высокий фрисландский моряк.

4 августа.

Час отлива.

Я сижу на бордюре на берегу и пишу большую сцену, где Иисус пребывает в храме среди еврейских книжников.

7 августа.

Письмо от Герты Хольк:

«Я отправляю Тебе эту картинку с семью лебедями. Она принесёт Тебе радость. А я вспоминаю Тебя в блаженные часы.

Я знаю, что Ты в разладе с самим Собой. Не забудь, слышишь Ты или нет, что любовь к Тебе и ко всему, что имеет к Тебе отношение, не покидает меня.

Меня гнетёт расстояние между нами. Порой я сомневаюсь в Твоей любви, и тогда мне хочется выплакать все глаза. Позволь же мне! Иногда я бессонно лежу до глубокой ночи и тоскую по Твоей крепкой твёрдости.

Я знаю, Ты ищешь путь, потому что Ты силён и обладаешь волей к будущему.

Но Ты должен принимать жизнь такой, какова она есть. Поэтому многое и не получается. «Иногда лучше идти обходным путём. И я уже знаю, что обходные пути — лучшие из всех путей»

— скажешь Ты мне в ответ. Но зато прямой путь никогда не приведёт в бездну.

Твоя Герта Хольк».

Семь лебедей висят подле моей кровати.

9 августа.

Здесь это называется отелем. У нас дома были бы скромнее и сказали бы, что это гостиница.

Гости приятные: служащие, учителя, пасторы. Много детей. Меня это устраивает. Можно целыми днями наблюдать, как они здоровеют и свежеют.

Самое замечательное на этом острове то, что здесь можно хоть не бриться. Каждый может делать, что заблагорассудится.

Тут царит атмосфера взаимной доброжелательности.

Можно спокойно трудиться.

«Ванны для образованных мелких людей» — шутя, говорит хозяин дома.

Я сижу за столом с одним музыкантом. Мы безумолчно говорим о Вагнере, о музыкальной драме.

Музыка есть музыка. Можно даже сказать, абсолютная музыка.

Моцарт не использовал для своей музыки программ. Он музицировал и пел с божественной лёгкостью ребёнка.

Мне хотелось бы стать пастором на этом острову. Разъяснять простым людям Нагорную Проповедь и испрашивать мир мирови.

Сегодня я не встретил ни одного еврея. Это поистине облегчение.

Еврей и в самом деле отвратен мне физически. Видя его, я начинаю испытывать приступы тошноты. Еврей противоположен нам онтологически. Я вовсе не ненавижу его, просто презираю. Он опозорил наш народ, вымарал наши идеалы, парализовал силу нации, разложил обычаи и обезобразил нравственность.

Он — гнойная язва на теле нашей больной народности.

Религия? Как вы наивны. Что общего это имеет с религией и тем более с христианством? Либо он нас погубит, либо мы его обезвредим. Третьего не дано.

Согласие? Может ли лёгкое находиться в согласии с туберкулёзной бациллой?

Еврей — не созидатель. По натуре он склонен к торговле. Он торгует всем: тряпками, деньгами, акциями, куксами, картинами, книгами, партиями и народами.

Разве найдётся кто-либо хитрее его? Он даже не хитёр. Он лишь рафинирован, пронырлив, изворотлив, ловок и беззастенчив. Здесь мы с ним не сравнимся.

«Так нужно народу» — говорит еврей. На самом же деле так нужно ему. Он скрывается от народа под маской приветливости, чтобы его цели не оказались безжалостно разоблачены. Народу ничего не нужно. Лишь порядочное правление.

Еврей кричит до тех пор, пока германец ему позволяет, только тогда крик прекратится.

Кому не противен дьявол, тому не люб и Господь. Кому люб свой народ, тому должен быть противен убийца своего народа, противен до глубины души.

О евреях можно ясно сказать: это самое страшное наказание, какое только может обрушиться на германцев.

Если еврею нужен палец, то он во всю глотку кричит, что ему нужна вся рука. Тогда «Михель»[9] встречает его на полпути и

даёт ему два пальца. Христос не может являться евреем. И я должен доказать это, только сперва не по-научному. Вот так!

12 августа.

Прогулка по заливным лугам. Пасутся коровы и овцы. Мелководье покоится тихо, как зеркало.

Лёгкий парусник пересекает залив. Он почти висит между небом и водой.

Совсем вдалеке видать взморье. В серой дымке расплываются крыши и башни.

Позади и передо мной — покрытые красной черепицей островные дома. Видны далёкие-далёкие просторы. Горизонт освежающе чист.

У меня устали ноги. Я сыт.

Теперь мне хочется что-то предпринять. Написать головокружительный опус, как-то так, чтобы высвободить этот избыток силы.

Труд освобождает меня. Я не могу оторваться.

Ежедневно сижу я на побережье и пишу мои рокочущие стихотворные строки. Море задаёт для них такт[10].

Как в полёте. На бумаге уже три сцены.

Высшее счастье — залить в форму кровь из сердца, которой ты пишешь. Я пишу неутомимо и испытывая душевную муку.

Радость творчества!

Вечером я сижу у себя в комнате и читаю Библию. Вдалеке бурлит море.

Тогда я ещё долго неусыпно лежу и думаю о молчаливом, бледном Человеке из Назарета.

14 августа.

«Любимая Герта Хольк!

Это мой внутренний раздор, который ты почувствовала. Я скажу тебе то, что надлежит теперь сказать. Я живу здесь тихо и уединённо, питая свою душу отрадой труда. Ты уже поняла меня.

Ты понимаешь меня всегда.
Покой мы ищем,
Ожидая,
Как с небес падёт звезда.
Глянь: огонёк за огоньком

Взмывает
Под небосвод!
Мы сядем безмолвно,
Слагая
В молитве руки, да.
Покой мы ищем,
Ожидая,
Как с небес падёт звезда.
Семь лебедей приносят мне большую радость.
Я ищу свой путь.
Кто верует, тот обрящет».

17 августа.

Невзыскательный маленький зал. На стульях сидят статные фрисландки в собственных национальных костюмах. Игра на органе. Играет педагог. Хорал набирает высоту.

Скромные слова молодого пастора.

Снаружи на лугу играет субботнее утреннее солнце.

Остров небольшой. Его можно обойти за пару часов. В западной деревне дюжина домов, в восточной — и того меньше.

Между ними пролегают дюны и заливные луга.

Дома опрятные, с красными крышами. Это придаёт всему острову нарядный вид.

В восточной деревне, которая вся утопает в зелени, живут отставные моряки и рыболовы.

В субботнее утро курортники прогуливаются от западной деревни к восточной.

Настроение этого промежутка между одиннадцатью и часом дня почти торжественное. Лица прохожих ясные и дружелюбные. На заливных лугах дети играют с овцами.

Можно обойти остров до полудня.

Я молю судьбу не бросать меня на полпути и дать мне всё или ничего.

Твой долг означает осуществлять из своего то, что оценил в себе как подлинное.

Нам необходимы не люди, а один единственный человек.

Мой путь — от частного к целому, от призрака к символу, от брата к народу, а уже от народа ко всему миру.

Чем меньше человек, тем меньше в нём способности верить.

20 августа.

«Мне хочется летать, а я всё ещё ползаю в грязи.

До свидания. Когда и где?

Твой Рихард».

Христос на Олимпе. Грандиозная идея.

Зевс и Христос как противоборцы. Годится!

Христос мерит людей Своей мерой. Поэтому в конце Он умирает. Впрочем, трагичны почти все пророки и великие революционеры. Они видят других так, как видят самих себя. И это ошибочно в их решениях.

Явись сегодня Христос вновь, как бы Он выступил с плетью против Своих фальшивых служителей из Его храмов!

Когда с утра я сидел на море и слагал строки, вдыхая при этом солёный ветер, набегавший от воды, я снова возвращался к Богу и был счастлив так, как не бывал счастлив с детства.

24 августа.

Дюны пересекает узкая тропа. Я долго шагаю по ней и вбираю однообразный морской шум, пока он окончательно не стихает. Стихает окончательно.

Тропа пролегает с холма на холм.

Путь через осот и твёрдые, как дерево, прибрежные травы весьма нелёгок.

Я спускаюсь в последнюю дюнную долину. И море вдруг каменеет. Я совсем ничего не слышу.

Наступает удивительная тишина.

Я долго лежу в дюнах и дожидаюсь слова из уст Господних.

28 августа.

Моя мать трудится с раннего утра до позднего вечера, и это ей в радость. Если все довольны, довольна и она.

Моя мать приносит для своих детей одну жертву за другой.

Она не ощущает себя одинокой. Я научился от неё тому же.

Я никогда не видел, чтобы моя мать сидела, сложа руки.

«Дорогая мама, я счастлив тому, что здесь, в уединении, имею возможность разобраться в себе. Теперь я часто думаю о доме. Вижу отца, идущего через поле и через двор. Теперь вам нелегко, потому что на носу уборка урожая. Порой мне кажется неправильным то, что я сижу здесь в праздности. Но вы бы, конечно, меня поняли: нам, юношам, прошедшим войну, надо во многом в себе разобраться. Наши души всё ещё изранены.

Раздробленные руки у тех-то и тех-то — это ещё не самое худшее по сравнению с внутренними ранами, дарованными нам войной и разрушениями. Мы больше не в состоянии непринуждённо взирать на Бога и на мир.

Но однажды мы воскреснем снова. Наши глаза вновь будут смотреть прямо и ясно. Дайте нам лишь время. Ищущий да обрящет».

29 августа.

Жители острова прямы и горды, женщины здоровы и сильны. В глазах этих людей есть нечто, отмеченное вечным биением волн.

Море — полностью их стихия. Их гордость, их утешение, их Бог.

Сильные люди здесь, на острове. Истинные господа! В наших городах они бы стали несчастными, потерянными детьми.

Вот почему никакая тоска по этим островам на материке не является слабостью.

Сегодня после обеда я лежу на одной из дюн. Мимо меня проходит плачущий ребёнок. Он заблудился в дюнах. Я отвожу его к матери.

Она — ещё совсем молодая фрисландка. Рослая, стройная, смугловатая от дюнного солнца. Она подносит мне стакан молока. Я сажусь за стол, и она рассказывает о муже и детях.

Муж на материке. Отправился на закупки.

Малыш уже доверяет мне, болтает со мной, играет у меня на коленях. Я угощаю их шоколадом и дарю картинку фон Швиндта, которая как раз была у меня сумке.

Хотя картинка мало их забавляет, шоколад они съедают с большим удовольствием. Молодая, приятная мать краснеет и смущается, когда я прощаюсь.

Дети бессердечны и немилосердны, как природа.

Ребёнок смеётся, если он испытывает радость и плачет, если испытывает боль. При этом и то и другое — и смеётся, и плачет — он от всего сердца.

Мы все рождены такими большими и умными. Мы так много знаем и столько прочитали. Но мы забываем одно: смеяться и плакать, как дети.

31 августа.

Это наслаждение, если мы чувствуем, что всё в нас в работе. Я живу будто бы в ином мире.

От работы мне становится радостно и хорошо.

Тяжело даётся борьба с формой, которую грозит подорвать содержание. Высокая материя в клочья разрывает тесные границы рамок. Я не могу усмирить стихи. Они перебивают строки.

Первый акт готов. Думается мне, он удался на славу.

Я едва прихожу в себя.

2 сентября.

«Я доверяюсь Тебе. Я жду, когда с неба упадёт звезда».

3 сентября.

Послеобеденный час. Отлив!

Я стою на полузапруде.

Сейчас совсем тихо. Море, которое сегодня с утра ещё так свирепствовало, дружелюбно, как возлюбленная. Вдалеке ходят люди. Так тихо, что слышно как они смеются и кричат.

На другой полузапруде стоит рыболов. Как линия, прошивает он ясный окоём.

Видно лишь белый песок дюн. Всё, что поднимается от земли, кажется большим, острым и тенистым.

Если долго вглядываться, то там, внизу, люди кажутся ростом с памятники. Всё становится таким безмерно высоким, и различима только чернота и белизна.

На заднем плане исчезают все цвета. Видно только штрихи и линии.

Я спускаюсь по берегу в самую глубь острова и думаю о Герте Хольк.

Женщина без грации — всё равно, что дом без входа. И то, и другое остаётся запертым.

Герта Хольк сильно увязла в бюргерстве. Она не обладает отвагой выйти из себя, она хочет оставаться сама собой.

Она как дитя: легкомысленная, наивная, искренняя как в радости, так и в печали. Она безрассудно растрачивает дар доброты и сострадания.

Она царственно любит.

Настоящая женщина любит орла.

Жёнушка подрезает ему крылья и превращает его в домашнюю птицу.

Это то, что мы переживаем сегодня: одна данность осуществляет свою историческую миссию и готова отступить перед волей к формированию новой, молодой данности. Бюргерство отходит в сторону, когда вперёд продвигается трудовое движение. Это не имеет ничего общего с профессией. Это обретает своё окончательно решение в сфере душевных манер. Бюргеров не будет. Бюргеры есть уже!

Данность ликвидирует отжившее лишь посредством сильных, революционных потрясений.

«Бюргер» — какое отвратительное ругательство.

Падающего подтолкни.

Мы все — солдаты трудовой революции. Мы стремимся к победе труда над деньгами. Это социализм. Он всё ещё движется различными путями, но воля повсюду одна и та же. Это последняя отрада, что не даёт нам отчаяться.

Мало-помалу обрушивающаяся историческая данность в своём закате доносит тонкие цветочные запахи своего умирающего творчества. Невежды легко принимают это за вновь пробуждающуюся продуктивность. Иначе они не могут. Продолжая формироваться в последних типах исчезающего мира, их утончённость и грация снабжается из почти порожних каналов и образует всю свою беспримесную красоту и прелесть в творческой гибели.

Быть может, здесь кроется тайна Герты Хольк. Кто знает?

Я преодолел. Я без сожаления и решительно устранил то, что ещё оставалось во мне от прошлого.

Я — революционер. Я заявляю об этом с гордым осознанием. Я никто иной и никем иным быть не могу.

5 сентября.

Вечером на пристани стоят матросы. Прибывает пассажирская лодка. С той и с другой стороны машут руками. Как в одной большой семье.

Добро пожаловать на наш остров!

Моряки кричат, привязывая канатами шлюпки, моторы которых ещё не заглохли.

Вдали на волнах качается лодка. Её можно разглядеть в бинокль.

Конечно же, почтовая лодка!

Мы продолжаем ждать. Через полчаса она прибывает. Матросы тащат почтовые ящики к ближайшему отделению почты.

Сегодня вечером почта.

Слава Богу!

Ожидавшие в гостинице бросаются туда — на почту!

Письмо из Мюнхена. От Ивана Войнаровского. «Приезжайте этой зимой в Мюнхен. Это город, в котором можно много узнать о Германии. Берлин ужасен. Германский Петербург. В Мюнхене иная атмосфера. Вы познакомитесь здесь со множеством новых людей. Русские! Вы можете верить или нет, но они тоже люди».

Каждая эпоха имеет свою великую идею. И каждый раз её идея верна.

Мысль пробивается там, где находит своего вернейшего приверженца.

9 сентября.

В песке играют дети. Я охотно за ними наблюдаю. Дети не лишены фантазии.

Мальчик строит целый дом, жилую комнату, спальню, гостиную, кухню. Он с гордостью и радостью рассказывает мне о своей постройке. Когда я заглядываю, он просторно располагается на кровати в своей дюнной спальне, чтобы привлечь моё внимание. Я подхожу поближе, мне очень интересно.

Он путается в деталях.

Я расспрашиваю его. Он отвечает обстоятельно и воспитанно. Его зовут Густав Адольф, и он из Гамбурга.

Он спрашивает моё имя, профессию. Студент?

«Да, я тоже хочу стать студентом. Но я хочу учиться в Гейдельберге. Хочу стать инженером».

«Тогда ты не сможешь учиться в Гейдельберге».

«Нет? Но почему же?»

Я разъясняю ему. Он очень расстраивается.

Он указывает на своих маленьких друзей. «Малыши занимаются глупостями» — не по годам смышлёно говорит он.

После этого он хочет пойти со мной на полузапруду. «Туда, где Вы всё время сидите».

Мы будто добрые друзья, на равных.

Я усаживаюсь в кресле-кровати снаружи полузапруды, совсем близко к воде и смотрю, как вокруг меня играют маленькие волны.

В голове вертятся отдельные стихотворные строки. Мне лень их записывать.

Сладостное безделье!

Так я долго сижу, не думая ни о чём.

Я только наблюдаю за волнами.

Они набегают и гуляют, пребывая будто бы в вечном изменении.

Густав Адольф обращается ко мне с запруды. Он называет меня просто Михаэль.

Он выстроил для меня на песке отдельный замок.

«Хотя, — говорит он, — на солнце Вам придётся сидеть снаружи. Этот дом не приспособлен выдерживать прилив, потому что сильный ветер.

Я очень ему признателен.

Вместе мы сидим в возведённом для меня замке. Он начинает рассказывать о Гамбурге. Всё, даже самые мелочи, как свойственно рассказывать детям.

Я слушаю его с интересом.

«Вы уже так загорели» — говорит он вдруг.

«Да!»

Мне больше нечего сказать, а он уже рассказывает дальше. «С утра мне придётся снова работать для Вас лопатой. За ночь ветер сдует замок».

«Тебе здесь хорошо?» — спрашиваю я.

«Да, но в Гамбурге лучше».

На острове он в сопровождении воспитательницы.

Вечер я провожу вместе с Густавом Адольфом и его друзьями. Я веду мальчиков фотографироваться и играю им маленькие песенки на фортепьяно.

11 сентября.

Густав Адольф с помощью ракушек написал на моём замке: «Вилла Михаэля». Он мой лучший друг.

15 сентября.

Уже стало прохладнее. Ледяной ветер. Больше не посидишь на побережье.

Многие из гостей разъехались. В гостинице опустело.

Я наполовину завершил второй акт. Но работа стопорится.

Я больше не продолжаю. Я словно обессилел.

Я часто подолгу сижу с Густавом Адольфом. Я рассказываю ему об университете. Его это очень интересует.

Удивительно, каковы корни всей поэзии и всей философии.

Природа — мать нам всем.

Сильная книга придаёт сил. Но только тому, кто силён сам.

Драма — это насыщенное страстями действие.

Кто желает изобразить действие, тот должен являться деятелем.

Преданность, пыл, влечение! Таковы мои опоры.

Мы должны стать мостом в будущее.

Когда я освобожу самого себя, я освобожу и свой народ.

17 сентября.

Густав Адольф со своими друзьями уехал.

«Я напишу Вам из Гамбурга» — говорит он мне на прощание.

«А моим домом, как Вы, разумеется, знаете, Вы можете пользоваться».

Он имеет в виду свой с усердием выстроенный песочный замок снаружи на побережье.

Он ещё долго машет мне с лодки. Я наблюдаю за лодкой в бинокль, пока она полностью не исчезает.

Мне ещё видно, как Густав Адольф со своими друзьями стоит возле паруса и хлопочет там с видом знатока.

И тогда я ощущаю себя здесь одиноким и заброшенным.

20 сентября.

Работа снова входит в привычное русло.

Я пишу с любовью и прилежанием.

Я сижу в своей комнате. На побережье уже похолодало.

21 сентября.

Теперь я снова ухватил настроение. Перо летает из стороны в сторону.

Созидать! Созидать!

25 сентября.

За ночь море наступило на заливные луга.

Сизигийный прилив!

Мы отрезаны от мира. Никакая почта не ходит ни туда, ни сюда.

На побережье гром грохочет, как в Судный день. Я

приветствую бурю криком. У меня захватывает дыхание.

Хоть мчись, хоть лети.

Волны свирепствуют! Пенятся далёкие, белые гребни.

Море воет, ревёт, кричит, свистит и шипит.

Море, великое море! Это исполинское чудовище!

А мы, люди, должны оставаться спокойными.

Сотрясение! Преклонение!

28 сентября.

Мы отрезаны от мира. Ни письма, ни посылки, ни газеты.

Удивительное чувство укромности. Будто бы один в целом мире.

Впервые один в целом мире!

Я пишу взахлёб, так, будто бы с утра мне предстоит умереть.

Море — великий дьявол.

30 сентября.

Стало тихо. Море отбушевало.

Теперь оно покоится, как обширная, ровная твердь, синее, серое.

Последние бури промчались. Снаружи и внутри.

Я просветлён.

Бесконечно свободен.

Оба первых акта на бумаге.

Это всё, что я к этому моменту был в состоянии сказать.

Больше сказать мне нечего.

1 октября.

Приходит почта. Письмо от Герты Хольк из Мюнхена.

«Я уже с неделю в Мюнхене и вскоре жду Тебя. Всё готово к Твоему приезду. Я сняла Тебе хорошую комнату в Швабинге.

Мюнхен — наилучшее для Тебя место. Искусство, дух и местный народ. Ты очень обрадуешься.

Каким новым Ты кажешься мне в Твоих письмах. Ты изменился. Как мне в радость Твоё прибытие!

Мне очень не хватает Тебя здесь. Без Тебя я ничто».

Чемодан упакован. Пора в путь.

Стены сходятся у меня над головой.

Взмахи крыльев!

Открывается очередной этап.

Я ещё раз сбегаю на побережье. Солнце, багряное, заходит.

На моём чемодане лежит белая пачка бумаги.

На первой странице написано: «Иисус Христос, драматическая фантазия».

На второй: Посвящается Герте Хольк». Мюнхен!

Очередной этап!

4 октября.

Ночное путешествие!

Вдалеке является море огней: Мюнхен!

Я глубоко дышу.

Мюнхенский воздух!

Какое озорное безрассудство художника вдыхает он в меня.

На вокзале стоит Герта Хольк. Изменившаяся, в чём-то чужая, — я едва узнаю её снова. Она ищет и ищет. Увидев, она кидается ко мне.

Михаэль!

Мы долго приветствуем друг друга.

Добро пожаловать в Мюнхен!

7 октября.

Мы прогуливаемся вниз по Кауфигерштрассе. Шесть часов вечера.

Жизнь!

Тирольцы в национальных одеждах, художники в широкополых шляпах, солдаты, девушки, дамы, наутюженные господа; мимо проносятся автомобили, грузно тянутся сквозь сутолоку экипажи. Здесь возбуждённый разговор, там маленькая бражка. Едва ли удаётся не обращать на это внимания. Лишь вдыхаешь лёгкий воздух города искусств Мюнхена.

В больших пивоварнях сидят за пивом мюнхенские мещане. Разносится тёплый дух готовящихся ужинов.

Снаружи уже холодно. Сладостная мюнхенская осень.

Большой город, но не крупный центр.

Человек там, где ему хорошо.

12 октября.

«Иногда я почти тебя не понимаю».

«Отсюда вывод: у меня меняются склонности. У нас нет времени долго оставаться теми же самыми. Мы должны продвигаться вперёд в бесконечность. Глубже, суровее и немногословнее.

Нельзя сказать полностью, что творится внутри. Ведь мы так мало об этом знаем. Временами я останавливаюсь и прислушиваюсь. Ничего не поделаешь с тем, что разрывается в нас и соединяется вновь».

«Ты принимаешь самого себя раздвоено. Ты наблюдаешь за собой, ты разделяешь самого себя. Анализируешь себя. Ты больше не тот, каков был. Ты становишься уединённым».

«Мы всегда вдвоём».

«Да, но это уже не для тебя. Ты интересуешься самим собой, ты стал нелюдим».

«Душа человека — это, конечно же, уменьшенный образ мира. Здесь мы говорим уже о таких противоположностях, как макрокосм и микрокосм.

Что путает, возмущает, беспокоит меня снаружи, то внутри себя мне видится ясным и равномерным».

«Современный дух никогда не проходит мимо эстетства».

«Ах, с эстетизмом сегодня проделано столько всего, что грубое бюргерское разумение ничего не разумеет.

Это не верно, что мы стали серьёзнее, малословнее, рассудительнее, усложнённее. Не то же ли самое с нашим временем?»

«Но, однако же, человеческое — это более лёгкое, более необдуманное, более простое».

«Я не знаю. Меня мучит столько вопросов, но я не могу заставить себя. Мне нужно расчистить путь самому себе. Если не противиться тому, что находится в нас, тогда остаётся выжидать».

«Это начало морали слабых: растрачивать свои жизненные силы — это наиболее простое».

«Да, растрачивать свои жизненные силы во имя духа, дух свободен. Тело ограничено. Растрачивать во имя тела — безусловно, ввергает в рабство».

«Не нужно делать первый шаг так легко. Ведь дорога крута и стремительна».

«Ты больше не веришь в меня».

«Если я больше не верю в тебя, во что мне тогда остаётся верить?»

Туман окутывает серостью далёкие поверхности английского сада.

От деревьев виднеются лишь чёрные тени.

Здесь тихо.

А город продолжает шуметь.

14 октября.

Стоят последние прекрасные осенние дни.

Деревья покрывает, отблескивая то красным, то коричневым, золото.

Струится Изар.

Вдали ты видишь ясные очертания башни и города. Небо серое, но всё ж освежающе светлое и ясное.

Далёкому взору благотворно. Глаза отдыхают на линии горизонта.

А потом цвета, тысяча цветов!

Осень — тонкий художник.

Зрелость!

Мы должны дозреть до нового типа.

16 октября.

В Пинакотеке я смотрю «Апостолов» Дюрера и глубоко потрясён.

18 октября.

Этот Швабинг! Мюнхенский латинский квартал. Квартал бурлящего волнения.

Сколько простора для искусства и порывов ежедневно возносится здесь к небесам.

Деятели искусства и непризнанные гении, эстеты и снобисты, критики и критиканы, философы и философствующие болтуны, учёные и воображалы, богоискатели и богопотребцы, мистики и экстатисты: великие и малые выражают здесь свою сущность и обратную сторону.

Это место отмечено Богом и дьяволом. Здесь своя особая атмосфера.

«Бубонная чума Мюнхена» — кратко написал бы газетчик.

Находиться здесь — всё равно, что сидеть на огнедышащем вулкане, где хотя и спокойно, но слышно, как бурлят и бродят волны.

Художники, студенты, поэты и швабингские девушки спесиво

толкутся по улицам. Здесь они у себя дома.

Можно услыхать слова, которых ни за что не повторить. Большинство их заканчивается на «-изм».

Почти повсюду литература кофеен.

Этот Швабинг однажды следовало бы прокадить. Это инкубатор вредных тенденций, и при этом он не имеет совершенно ничего общего с подлинным Мюнхеном.

21 октября.

С Гертой Хольк я наношу визит Ивану Войнаровскому. Вечернее время, и мы застаём его за чаепитием.

Иван Войнаровский постарел. Он выглядит усталым и утомлённым. Вначале он ни о чём меня не расспрашивает (или наоборот?). Затем ворчливо и резко приветствует нас.

Он говорит о своей революционной деятельности. Он задействован в партийных делах, наименее ему любимых, и теперь желает выговориться.

«Этих люмпенов ведёт дьявол. Они все работают на свой собственный карман. Вообще же революция целиком разбивается о людей. Этот сброд слишком мелок для нового мира».

«Это ещё слишком мало — возжелать жертвовать. Нужно ещё и выжидать. Время работает на нас. И пусть оно работает».

Он смотрит на меня, наполовину непримиримо, наполовину насмешливо.

«Нет, это не так. Таким противопоказано руководить. Ведь они желают вовсе не революции. Им смешно, если речь заходит о чём бы то ни было, кроме экономики. Им недостаёт пути в величие, вдохновения, пламенности. Они — тунеядцы, взятые все вместе».

«Можно быть выходцем из народа. Если я смотрю на эти вещи с германской точки зрения, то всегда вижу наши бедствия в том, что мы ещё слишком глубоко втиснуты в фальшивые традиции. Мы всё ещё не германцы. Мы были ими только в самые великие моменты нашей истории; а тут вы приходите к нам с мировой республикой. Нам такое не подходит».

«Идея объединённых государств Европы — разумнейшая из всех, что подвергались осмыслению в этом столетии. Но это не окончание всего. Это лишь этап на пути к целому. Мы, русские революционеры, поставили себе цель: свободные люди на свободной земле».

«Это прекрасная фраза. Но она ломается о суровую действительность. Нам, германцам, достаточно оставаться

самими собой».

«Вы будете вынуждены. Мировая идея не может разбиться об оригинальничание узколобых бахвалов».

«Так, так! Вынуждение происходит между двоими: вынуждающим и вынуждаемым».

«Пока что мы ещё хозяева у себя дома» — язвительно вставляет Герта Хольк.

Иван Войнаровский смеётся.

Он выглядит совсем устало.

Теперь он обращается к Герте Хольк. Тихо, почти женственно. Он не смотрит на неё. Его взгляд тягостно и медленно устремляется вниз.

Внезапно он встаёт, лицо его белое, как мел. В его глазах вспыхивает тот былой демонизм, от которого я не могу освободиться.

«Но однажды ворвётся день, он должен ворваться!

Я не доживу до него, и вы не доживёте. Но он грядёт! Мы страдаем не зря.

Мир не сможет позабыть, как молодёжь Европы истекала кровью на полях битв за единственную идею — быть может, бессознательноно во всём жила лишь эта идея, для знающих она была верой, для верующих — предчувствием. Не получится замалчивать молодёжь.

Что с того, что нам не увидеть этого дня? Было бы достаточно стать лидерами, первопроходцами нового времени. Не думайте, что мы сражаемся с ветряными мельницами. Нам заранее ведомо, какой разыграется сценарий. Нужно лишь сменить тактику.

Можно нас уничтожить. Мы замолчим только мёртвыми. Но наши слова вернутся.

Европа должна нас услышать.

Мы — закваска, приводящая мир в брожение. Мы — соль земли».

Обессилев, он погружается в себя и взирает на нас так изумлённо, будто бы заметил наше присутствие только сейчас. Затем он надолго умолкает.

Стало поздно. Мы собираемся назад.

«Я ненавижу Ивана Войнаровского» — говорит Герта Хольк по пути домой.

23 октября.

Экспрессионизм гибнет от своих фальшивых жрецов.

Те устремляются за величием, чтобы за пазухой у него

прошмыгнуть на Олимп.

Боязнь образованного филистера — прослыть несовременным. Всё это отродье состоит из литературных карикатур!

«Меня тошнит от этого чернильноклякcящего столетия!»[11]

Духовное деяние нашего времени — это передовица, партийная речь, парламентский доклад.

Книга стала предметом роскоши.

Литература стала партийным делом.

Методика работы Гёте: у него есть переживание, оно затрагивает струну в его груди, она звенит в подсознании день, год, наступает время, когда она звучит яснее, переживание сгущается, становится светлее, чище, привлекая новые переживания, и поэт записывает то, что диктует ему душа.

Гёте — подлинный импрессионист.

Импрессия — это впечатление, экспрессия — выражение.

Импрессионизм — искусство впечатления, экспрессионизм — искусство выражения. Вот и весь секрет.

Наше столетие по своей внутренней структуре полностью экспрессионистично. Это не имеет ничего общего с модой на остроты.

Мы сегодняшние — все экспрессионисты. Люди, желающие изнутри наружу сформировать внешний мир.

Экспрессионист выстраивает новый мир в себе. Его тайна и его сила — это усердие. Мир его идей чаще всего разбивается о действительность.

Душа импрессионистов: микрокосмический образ макрокосма.

Душа экспрессионистов: новый макрокосм. Мир в себе.

Экспрессионистское мирочувствование — детонирующее. Это автократическое чувство собственного бытия.

24 октября.

После исполненного боли и счастья вечера: обетование Герте Хольк:

Я склонился перед тобой
На колени
И овладел твоей душой.
Ты отдала её мне.
Я заключаю её
В свои объятья,

И хочу быть осторожным,
Чтобы не поломать её:
Она столь нежна и тонка,
Точно южный ветер,
Что, едва слышно напевая,
В летний полдень
Обвевает твой
Горячий лоб.

27 октября.

Досточтимая объективная наука в германских университетах: «Характерный для господ дух, в котором отражаются времена». Почему не найти мужества для свободного субъективизма?

Предпочтительнее быть рабом самого себя, нежели рабом объекта.

Обеими ногами я укоренён во времени. Укоренён в его низменностях и в то же время настолько остаюсь им воодушевлён, что хочется тянуться до звёзд.

Для современников, по-видимому, существует лишь один абсолют: относительность.

Я много просиживаю по кафе. Там я изучаю людей из всех господствующих стран. Тем больше мне нравится всё, что является германским. Жаль, что это стало такой редкостью в собственной стране.

29 октября.

Сегодня Герте Хольк 23 года.

Я дарю ей пару моих набросков и изысканное издание «Фауста».

Она очень радуется.

Этот Мюнхен немыслим без своих еврейских снобов.

1 ноября.

Штарнберг. Вдали виднеются снежные горы. Потрясающе прекрасные!

Великий час! С другим человеком, которому иначе живётся и представляется.

Копятся дни, годы.

Мы — покойный тихий остров в океане мира.

Конец и начало!

Грань между жизнью и вечностью!

Опьянение, избыток, бытие! Я сжимаю своё сердце обеими руками.

Я живу!

О, этот избыток могучей жизни!

Символ воплотится.

Наслаждение — суть мучение.

Я зыбко скитаюсь от вечности к вечности.

Я падаю в бездны, глубоко и неизмеримо.

Я отныне не я!

Так следует мне постичь в тебе другого человека.

Мы долго едем в тёмном купе.

Герта Хольк едва заметно плачет.

4 ноября.

Я слушал Девятую симфонию Бетховена, и под конец мне подумалось, что Земле предстоит потопнуть.

Все состязаются и борются, так же как состязаюсь и борюсь я.

Вечная загадка: рождение и смерть.

Отчего мы обречены так страдать?

6 ноября.

«Я пребываю во внутреннем конфликте с учителем. Ибо мелкая университетская аристократия в больших количествах невыносима. Создаётся риск утратить связь с жизнью. Лекции мне, в общем, вполне нравятся, — однако при этом нечто всегда остаётся безвкусным. Но я не хочу загружать Тебя беседами на узкоспециальные темы. Ей-богу, здесь только и приучаешься разговаривать на узкоспециальные темы. Наша наука страдает суперлативным недугом. Всего!

Твой Рихард».

10 ноября.

Иван Войнаровский ведёт меня в художественную мастерскую. Там работает один художник из Гамбурга и

скульпторша из Цюриха.

Скульпторша — миловидная, мягкая девушка с белокурыми локонами.

Художник пишет Распятье, роскошное по цветам, хорошо задуманное; но, как почти и вся современная живопись, утрированное в исполнении.

Начинается диспут и острый спор. Иван Войнаровский веселится над ним.

Я сижу подле скульпторши на диване. В обсуждении мы едва участвуем.

Её зовут Агнес Шталь, и она кажется ещё лучше, чем после первого произведённого ею впечатления.

11 ноября.

Мюнхенец — это мещанин. Однако перед мещанами всего мира он имеет то преимущество, что, в общем и целом, он оставляет в покое господ художников.

Герта Хольк полагает, что вскоре мне следует начать готовиться к экзаменам.

15 ноября.

С Гертой Хольк я посещаю выставку современной живописи, и мы встречаем Агнес Шталь, цюрихскую скульпторшу.

Мы видим много новой бессмыслицы.

«Звезда»: Винсент ван Гог.

Здесь он уже работает плавно, но всё же он модернист из модернистов.

Модернизм не имеет ничего общего с героическим жестом.

Ведь в нём всё достигается лишь обучением.

Модернизм — это новое мирочувствование.

Современный человек — непременно богоискатель, быть может, христианин.

Жизнь ван Гога говорит нам ещё больше, чем его труды. Он объединяет в себе наиважнейшее: он — учитель, проповедник, фанатик, пророк — сумасшедший.

Но, в конечном счёте, мы все сумасшедшие, если подчинены какой-либо идее.

Фанатизм любви — дух самопожертвования!

Жизнь — это жертва во имя потомков:

А мой потомок — той же крови.

Кровь всё ещё остаётся лучшим и прочнейшим скрепляющим средством.

Какое невыразимо тяжкое мучение доставляет выставка.

Современным германцам не столь сильно присущ разум и дух, нежели новый принцип, безрассудное восхождение, самопожертвование, преданность народу.

Ничего себе зрелище: ван Гог сидит в Бельгии среди чёрных шахтовых чертей и разъясняет им Нагорную Проповедь.

Я могу сказать: мы, современные германцы, — нечто вроде христосоциалистов.

Христос — гений любви, которой, как таковое, наиболее диаметрально противоположно еврейство, представляющее воплощение ненависти. Еврей демонстрирует отсутствие расы среди земных рас. Он выполняет ту же задачу, что и вредоносная бацилла в человеческом организме: мобилизовать сопротивляемость здоровых сил или же скорее и тише погубить обречённое на смерть живое существо.

Христос — первый по размаху противник евреев. «Ты сожрёшь все народы!» Он объявил им войну. Поэтому еврейство убрало Его с дороги. Ибо Он перетряхнул до основания их грядущее мировое господство.

Еврей — это ложь в человеческом обличье. Он впервые в истории прибил ко кресту вечную Истину в обличье Христа. Это дюжину раз повторялось в последующие двадцать столетий, а сегодня повторяется снова.

Идея жертвенности впервые приобрела во Христе зримое обличье. Жертвенность представляет собой суть социализма. Отдать самого себя другим. Это неподвластно пониманию еврея. Для него социализм означает: принести других в жертву самому себе.

Так выглядит на практике и марксизм.

Раздай своё добро бедным: Христос.

Собственность — воровство, пока она не принадлежит мне: Маркс.

Христосоциализмом называется добровольное и охотное исполнение того, что интернациональные социалисты делают, руководствуясь либо жалостью, либо государственным интересом.

Моральная необходимость против политической надобности.

Борьба, которую мы сегодня ведём до победного конца либо до ещё большего провала, в самом глубоком смысле, есть борьба между Христом и Марксом.

Христос: принцип любви.

Маркс: принцип ненависти.

Мы ещё долго сидим вместе в кафе. Впечатление от

современной выставки ужасное. Как много в это время устремлений и как мало плодов.

Здесь я настолько пресыщен восторгами чужеродного блеска, что мне требуется вернуться в действительность.

Ибо не совместима ли наша неутолимая тяга ввысь с тем, что мы крепко и мощно вкоренены в надёжную, твёрдую землю?

Чужеземное отребье следует отодвинуть прочь от германского искусства.

Судьба германского искусства — это наши благие германские свойства.

В германском духе всё ещё имеются перспективы на будущее.

Когда можно будет сказать, что в стране наступил покой?

Мы — трудовой народ в период ожидания будущего Отчизны.

17 ноября.

Герта Хольк — моя мука и моё избавление. Она оставляет меня то на небесах, то в преисподней.

В дни моей скорби я едва ли могу нуждаться в ней.

23 ноября.

Много времени я провожу с Иваном Войнаровским и с его русскими друзьями.

Герта Хольк очень печалится обо мне.

25 ноября.

Политика портит характер.

Самая дешёвая отговорка политиков за пивной кружкой, не робеющих делать предметом гордости вещи, о которых они не имеют собственного мнения.

28 ноября.

Открытка из Гамбурга:

> «Дорогой господин Михаэль! Вы всё ещё помните о днях на нашем острове? Я ничего не позабыл. Вы всё такой же загорелый, как тогда?
>
> А я рад тому, что теперь тоже студент.

Самое сердечное Вам приветствие от Вашего верного друга Густава Адольфа».

1 декабря

Галерея Шака. Германские живописцы-поэты!

Швинд, Шпицвег. Я долго стоял перед «Пьетой» Фейербаха.

Если бесцельно бродить по Мюнхену, можно ощутить, как перед старым домом нет-нет, да и возникнет, маня, домашним уютом церковь, под стать приветливому пережитку неприметно улыбающаяся в нашей современной сутолоке.

3 декабря.

Я смотрел в театре «Нибелунгов» Геббеля, с красным освещением, небесно-голубым задним планом, в размеренной манере и со сдерживаемой пылкостью в речи и стиле.

Театр создан для переживания.

Насколько может талантливый человек приблизиться к совершенству!

6 декабря.

Праздник в художественной мастерской. Большая, пустая комната превратилась в замок фей; малыми, скромными средствами, но стильно и со вкусом.

Дамы купаются в красках.

Какая атмосфера! Всё, с чем можно порвать, — порвано, забыто и развеяно.

Как прекрасна жизнь!

Музыка и танец!

Рыдают скрипки.

Первая бутылка игристого хлопает пробкой.

И вот сумасбродное пение и крики.

Можно тоже петь и кричать.

Объятия, дружба, вечная дружба!

Как прекрасны дамы! В чёрном и красном!

Но ты прекраснее всех, Герта Хольк!

Агнес Шталь в костюме дочки швейцарского бюргера. Мы долго сидим вместе, и она рассказывает о своём искусстве.

Агнес Шталь и Герта Хольк хорошо понимают друг друга.

Агнес Шталь немногословна, но её молчаливость не смущает.

Эй вы, её критиканы, побери вас дьявол!
Музыка и танец. Рыдают скрипки.
Дамы в красном и чёрном.
Но ты прекраснее всех, Герта Хольк!

7 декабря.

Этот народец деятелей искусства принимает жизнь не в полную силу.

Изысканные ублажения помогают преодолевать несчастья.

Однако более глубокие люди вскоре отходят от этого и идут своим собственным путём.

Но этот народец деятелей искусства до самого своего конца принимает жизнь не в полную силу.

9 декабря.

В газетах травля и ругань. Эти безответственные мазальщики!

Народ на улицах, шумит и проводит демонстрации. Господа сидят, не выходя из кабинетов, и со спокойной душой доигрывают свои партии.

Старая Европа уходит без следа.

Да, этот безумный мир! Головотяпство, друг Горацио!

На улицы будто бы притягивают таинственные силы. Мысли снаружи, где разыгрывается драма мировой истории — хоть и не возвышенная, но драма. Серьёзная публика много об этом задумывалась.

Я прихожу к тому, чтобы рассматривать всё лишь как сюжет.

Следует самому стать средоточием, вокруг которого вращается всё.

13 декабря.

Я возвращаюсь из театра, и здесь располагается заснеженный Мариенплац. Жёлтый свет луны играет на снегу.

Изысканно чарующая картина, точно бы из времён императорских династий и светлейших князей.

18 декабря.

«Зимний путь» Шуберта в исполнении одного хорошего баритона духовно и тонально исчерпывающ.

Венский музыкант, который говорит о смерти.

Это действует вдвойне пронизывающе.

В Мюнхене есть возможность музицировать.

Мюнхен — имперско-германский филиал австрийской музыкальной россыпи.

20 декабря.

L'art pour l'art[12] в германском понимании искусства — прегрешение.

Политика будет делаться на улицах.

Улица — характерная черта разваливающейся цивилизации.

Впадаю ли я в безумие?

Я больше не вижу звёзд.

23 декабря.

В горах. Белый свет облаков приветствует с далёких высот.

Окно моей комнаты устремлено на гигантов. Поутру я стою и безропотно, благоговейно взираю на них снизу вверх.

Исполины!

Сделайте мои мысли равными вам.

Устремите их к величию до ваших грандиозных исполинских высот.

24 декабря.

То был мой порыв: к божественному одиночеству и покою гор, к нетронутому, белому снегу.

В большом городе я устал.

В горах я снова дома. Здесь я многие часы просиживаю в их белой девственности и снова ищу самого себя.

25 декабря.

Герта Хольк зажигает рождественскую ёлку. Я думаю о доме.

Старые рождественские песни.

Я ощущаю некую ностальгию об утраченном отчем доме.

Мы одариваем друг друга. Красивый, старинный Христов Завет от Герты Хольк доставляет мне наибольшую радость.

Я благодарю её за то, что она — моё утешение и моя сила.

29 декабря.

Мы стираемся в мелких распрях.

Шествие сквозь ясную, холодную, звёздную ночь. Испарения поднимаются от земли. Блаженное скитальчество.

Немое, безмолвное, близкое к мировому духу.

Ветер поёт в деревьях.

Древнейшее пение Земли.

30 декабря.

О, вы, горы! Тёсаные башни!

31 декабря.

Конец года!

Я подвожу итоги.

Самообзор и прошение к Духу Святому о благополучии и процветании.

Я сделался сильнее внутренне и стремлюсь к ясности познаний и к твёрдой вере.

Я знаю, что, помимо духа, я найду освобождение в чём-то, о чём ещё не знаю. Я ясно вижу, но ещё не созрел для того, чтобы направить мою жизнь сообразно познаниям.

Жизнь тяжела.

Но мы должны обуздывать её и подчинять.

Я люблю Герту Хольк и с каждым днём чувствую себя всё глубже с нею связанным. Однажды мы все будем освобождены.

Мир затягивает нас тысячью вервей. Из-за безучастности и снисходительности мы делаем ошибки и накапливаем новые долги поверх унаследованных старых.

Наша жизнь — вереница долгов и уплат, над коими господствуют непостижимые законы прядущей своё воздействие судьбы.

Через долг и уплату к новому, германскому человеку.

На улице бьёт полночь.

Мы подаём друг другу руки и желаем на будущее то, что

каждый из нас находит наиболее достойным в жизни.

Герта Хольк желает мне: «Ты должен стать мужчиной, который прорубит окно в Отечество».

Новогоднее гадание на свинце обнаружило моим символом на следующий год орла с распростёртыми крылами.

Мы сидим до глубокой ночи.

Герта Хольк изливает мне всю полноту своей души.

2 января.

Снег в горах.

4 января.

Я грезил О тебе:
Ты лежала рядом со мной,
Бледная луна переливалась по твоей левой руке,
И та была бела, как снег.
А правая покоилась на твоём сердце,
И вздымалась, и опускалась
В унисон твоей груди.
И пока я так лежал и о чём-то вздорил с тобой,
Я случайно услышал,
Как ты отчаянно зовёшь меня по имени,
Совсем беззвучно и так, будто хочешь выразить просьбу
И передать мне чувство боли,
В которой слитны и печаль, и радость, и мученье.
И, как на зов твой, я поднялся,
Склонился на колени пред твоей постелью,
Укрыл свою голову на твоей груди
И поцеловал твою белую руку.

10 января.

Я слушаю «Времена года» в исполнении четверых музыкантов на смычковых инструментах.

Квартет четырёх темпераментов; и вот они начинают свою повесть.

Виолончель провозглашает утверждение. Тема!

Первая скрипка шаржирует это утверждение. И вот сверху

накидываются остальные.

Спор, словопрения, борьба четверых друг против друга; каждый производит впечатление верности своей части, один внезапно выпадает из роли, над ним смеются, высмеивают; тот обороняется, становится серьёзным, плачет, рыдает, все плачут от умиления и подмечают, что они не понимали друг друга. Вот моя рука. Мир?!

Вот они снова мгновение болтают в счастливейшей гармонии, а затем возвращаются обратно: — струнный квартет Моцарта.

Последний квартет Бетховена: откровение конца.

Чувствуется план, на ощупь найденный в бесконечности, чувствуется, будто стоишь пред вратами вечности и робко стучишься, чтобы отворили.

— Я блуждал под звёздами.

15 января.

Улица! Я не отделаюсь свободно. Я раскалываюсь.

Политика! Можно угодить вслед за другими в водоворот.

С некоторых пор мы стали слишком мало обращать внимания на политику, мы, германцы. Может быть, поэтому мы и проиграли войну. Мы видим в политике лишь только науку или же, в лучшем случае, профессию, но никогда не дело всего народа.

Политика — это забота о хлебе насущном. Хлеб не падает с неба, он завоёвывается и охраняется.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь. Нет, даждь нам Твоё благословение на хлеб, который мы сегодня и всегда желаем создавать и завоёвывать.

Вы называете заботу о хлебе материализмом? Нет, нет! Это самая примитивная форма практического идеализма. Она преодолевает ту разницу, тружусь ли я ради простейшего выживания или скапливаю сокровища и золото.

Снаружи по улицам долгими вереницами проходят демонстрации бедных, бледных, удручённых людей. Хлеба! Хлеба!

Вы называете любовью к Отечеству, то, что вы готовы отстреливать друг друга, как бешеных псов?

Наш народ втиснут в ярмо. Господа мира вынуждены нести рабскую службу. Сверху донизу и снизу доверху.

Против этого весь народ должен выступить фронтом: сверху донизу и снизу доверху.

Такая беда, что между верхом и низом стоит стена из чванства, стяжательства и просвещенчества. Мы больше не

понимаем самих себя. Мы — не народ, а два партийных лагеря, озлобленно враждующих между собой. Поэтому мы становимся игрушкой в руках сил, овладевающих всем миром.

Если однажды сверху и снизу мы станем едины, нам будет принадлежать Земля.

Но нам никогда не достичь этого посредством речей и резолюций. Пусть пронесётся очистительная священная грозовая буря.

Мы должны начать сначала.

Кто-то сожмёт в ладони знамя — меч ненависти и любви — и тогда расчистит дорогу.

Словом, в котором уже возвышается дело.

Да здравствует республика!

Так кричат снаружи. Но как нас касается республика? Да здравствует Германия! Да здравствует её будущее!

Однажды нам предстоит отвечать перед судом истории. И вместо вопроса: «Вы защищали республику?» последует вопрос: «Где империя? Где вы оставили Германию?»

Иван Войнаровский — мой демон.

Герта Хольк не понимает моих терзаний.

Я должен разрушить и возвести заново.

Всё до последнего камня.

Я не могу подобрать слов. Я в отчаянии.

18 января.

Герта Хольк доставляет мне пытку за пыткой.

22 января.

«Иван Войнаровский, Вы хотите отнять у меня последнее — Отечество. Вы пустите меня по миру».

«Это лишь временная боль. Я хочу взрастить в Вас мужество, наконец».

«Я в отчаянии».

«Мир создан для отчаявшихся».

«Я не могу больше жить».

«Так уже говорили многие, но мало для кого дело обстояло так на самом деле».

«Вы дьявол».

«Дьявол — всего лишь падший ангел».

«Я Вас ненавижу!»

«Мне всё равно, но я Вас не оставлю, Михаэль».

«Зачем Вы со мной возитесь?»

«Вы незамутнённый и воодушевлённый. Вы — наша новая надежда».

«Я умоляю Вас, оставьте меня; я желаю искать дорогу сам».

«Вы всё ещё пребываете во власти старых пережитков; Вы движетесь слишком окольно».

И Вы отнимаете у меня слишком много времени».

«То есть, вы хотите, чтобы я не формировался из самого себя? Я должен стать Вашим рабом?»

«Да!»

Я поднимаюсь, он внезапно бледнеет и инстинктивно делает шаг назад.

Я теряю контроль над собой и бью его прямо в лицо.

Затем я без чувств опускаюсь в кресло.

Иван Войнаровский остаётся безмолвен.

Вдруг он подходит ко мне, сжимает мою руку и просит у меня прощения.

26 января.

Я в отчаянии.

Я теряю себя и тебя, Герта Хольк!

28 января.

Я не могу подобрать слов ко «Христу».

31 января.

«Герта Хольк, ты не хочешь меня понять!»

«Я не могу тебя понять».

«Тогда мы потеряем друг друга».

«Я надеюсь, этого не произойдёт».

«Во мне всё выгорает».

«Потому что ты горишь чем-то другим».

«Я ничего не могу с этим поделать».

«Постарайся, тогда ты снова обретёшь себя».

«Не оставляй меня».

«Я не оставлю тебя, если ты сам себя не оставишь».

5 февраля.

Город и люди — всё мне отвратительно; здесь я прихожу в упадок. Мне кажется, я болен. У меня стучат виски, и колотится сердце.

Неужели некому мне помочь?

Я читаю Библию. Но всё же никак ещё не найду решения.

10 февраля.

Прочь от людей, бежать внутрь самого себя!

Здесь я гибну.

15 февраля.

В горы! К богам!

Я должен обрести себя.

Оставить всё. Город, и людей, и мир.

Ничто больше не видеть, ничто больше не слышать!

Пребывать одному в своём одиночестве!

18 февраля.

Здесь я хочу вас обрести,
Снег и вечность!
Дружественные горы!
Вы, исполины, вы — мой бог!
Здесь выситесь вы в царящем одиночестве.
Свет! Да будет свет!

Я тихо впиваю покой моим разорванным сердцем.

Теперь я хочу трудиться.

Быть может, это дарует мне утешение.

20 февраля.

Пролог ко «Христу». Поэт и Дух времени в пустыне предмирья.

Поэт:

Лишь только дух вечен как таковой,
Дух, объединявший нас,
Дух, сплачивавший добрую волю.
Теперь страдает он и чахнет;
Но в последнем борении
Он сильных приведёт друг к другу.
Дух — это Бог!
Я верую в Бога.
Когда всё рушится, мы хватаемся
За последнюю соломинку,
И видим мы
С уютного причала,
Как обезбоженный род
Старой, святой Европы
Терпит крах.
Пьеса начинается.

27 февраля.

Труд освобождает.
Я стыжусь своего малодушия.
Третий акт фантазии «Христос» готов.
Я пока ещё не выразил себя.
Но я нахожу освобождающие слова.

6 марта.

Я хочу сделаться проводником.
Хочу служить Отечеству.
Прокладывать путь.

10 марта.

«Я много думаю о Вас; надеюсь на Вас. Вы в курсе, что я не верю в то, что Вы пропадёте для человечества. Вы не отщепенец! Вы не отделаетесь от демона, пока Вы служите Богу.

Мы не Земле для того, чтобы жертвовать.

Иван Войнаровский».

16 марта.

«Моя жизнь теперь — сплошная скорбь о Тебе. Ты травишь меня самой горечью. Какой несчастной чувствую я себя от всей той мятежности, которой веют Твои письма. Я предчувствую нечто ужасное и ничего не могу поделать. Мне остаётся только ждать. Это самое скверное. Почему между нами больше нет взаимопонимания? Что я могу поделать с тем, что я такая, какая я есть?

Я ничего не могу, Ты слышишь, ничего не могу. Я люблю Тебя свыше всех пределов. Потому моя боль за Тебя столь велика. Если Ты в отчаянии, я отчаиваюсь вместе с Тобой, и тогда ничто больше не может меня удержать.

Герта Хольк».

22 марта.

Моё перо обрело крылья. Все мои мысли — исключительно вокруг драмы.

30 марта.

Христос умер, Христос воскрес! Я снова узрел Его. Такого, каков Он есть. Теперь я выразился полностью.

На бумаге пять актов. Я подхожу к финалу.

4 апреля.

Эпилог ко «Христу». Поэт и Дух времени в пустыне послемирья.

Поэт:

Я благословлён,
Во мне ослабевает мука.
Я пробуждаюсь,
Я живу, я верую!
Могущественное слово, ты, расточитель моих страданий,
Тебя хватаю я руками
И формирую из тебя

Светоч времени.
Я встаю, наделённый силой
Воскрешать мертвых.
Они пробуждаются от глубокого сна,
Сначала постепенно, затем всё боле, боле.
Множат ряды, встают, как войско,
Народ, соборность.
Нас связывает помышленье,
Мы едины в вере,
В твёрдой воле
К юной форме и исполнению обета
И так мы воздвигнем новое царство».

10 апреля.

Последний день отдыха; затем снова житейские дела.
Вечная борьба!
Я снова чувствую себя сильным для неё.

15 апреля.

Мюнхен!
Я вливаюсь в толпу.
На моём столе лежит письмо от Герты Хольк:
«Мы должны расстаться. Прощай! Мне невыносима эта пытка. Я плачу о Тебе, прощай!»
Я кидаюсь к ней на квартиру.
«Фрейлейн Хольк уехала три дня назад».
«Куда?»
«Неизвестно».
Я впадаю в безумие и в отчаяние!
Прочь!
Дождь хлещет мне в лицо.
Одиночество!
Жизнь — горечь.
Мне нужно остаться совсем одному. Я распыляюсь для других. Я один из тех, кому следует быть одному.
Длинными шагами я мерю грязь и потоки воды.
Прохожие смеются надо мной.
Я не приспособлен к труду.
Я был юн; мечта испарилась.

Поздно вечером я поворачиваю к дому. Кусок не лезет в горло. На моём столе лежит кипа листов. Моя драма.

Я швыряю её в угол. Листы разлетаются в клочья.

Я ищу один лист.

Нахожу.

«Посвящается Герте Хольк».

Это приводит меня в полное недоумение.

Я кидаю лист в топку. Он горит горячим, алым пламенем.

Я стою и смотрю в огонь.

Так всегда в жизни.

Да, из упрямства, сказала бы она теперь, из упрямства, из упрямства! А потому что я такой и никакой иной.

Слёзы застят мне глаза. Тьфу, малодушный!

Я смеюсь над самим собой.

Затем снова безумие, ненависть, гнев, ярость! Я колочу по стенам, колочу себя самого.

Я проклинаю жизнь.

Я ненавижу этого Ивана Войнаровского.

Я больше не в своём уме.

Тысячу раз я целую портрет Герты Хольк. Я — как дитя, и забываю стыдиться этого.

Затем я рву портрет и кидаю его в огонь.

Я безмерно устал, но не могу уснуть.

Я хочу кричать, реветь, как зверь.

Потому что я потерял всё!

20 апреля.

Последнее письмо Герты Хольк.

«Михаэль! Я произношу Твоё любимое имя. В это имя я хочу вложить всю мою боль за Тебя и мою к Тебе доброту. Сейчас поздний вечер.

Я очень несчастлива, потому что чувствую, что Ты был первым и последним, кто любил меня так, как я хотела, и так, что это делало меня счастливой. Теперь я потеряла всё. Мосты за моей спиною сожжены, и ночами я плачу о потере.

Позволь мне ещё раз прийти к Тебе и излить Тебе моё сердце. Ты не думай, что я стала другой, я всё та же прежняя Герта Хольк, которую Ты знаешь неизменной, только теперь она сверх всякой меры несчастна. Что бы я ни предпринимала, всё я делаю неправильно; моя жизнь утратила почти всякий смысл.

Почему наши пути разошлись? Очевидно, нас сделало

чуждыми друг другу наше различное духовное развитие. До Мюнхена Ты был человеком, которого я полностью понимала во всём, даже в малейшем побуждении. Ты ежечасно давал мне больше, чем все остальные люди вместе взятые.

При Твоём новом отношении я внезапно в Тебе усомнилась, прежде всего, в Твоей любви ко мне. Моя вера пошатнулась.

Мы, женщины, без веры в мужчину, жить не можем.

Тебе ещё долго принадлежало всё моё сердце, и я не утаивала от Тебя ни одной из моих мыслей; в том числе и моей за Тебя тревоги. А Ты уехал; а я хотела обращаться к Тебе, но не могла, потому что Ты стал слишком самолюбив, может быть, поэтому, как я и опасалась, Твоя любовь, в которой я уже так долго сомневалась, утратилась полностью. Так я осталась позади в моей муке и разорванности. Ведь я знала, как глубоко я была к Тебе привязана.

Мне никогда не забыть тех горьких, бессонных ночей, в которые я страдала за Тебя. С каждым днём я разрывалась и отчаивалась всё больше, и все мои мольбы к Богу о ясности и покое оставались безответны. Я стала беспомощна и потеряна, наедине с несущимися мыслями.

Твои письма сквозили тем же духом муки и разорванности. Я не могла обрести с Тобой желанного успокоения. Ведь Ты стал искателем, испытателем. Нам, женщинам, нужно что-то, в чём бы мы чувствовали надёжность. Ты не дал мне этого. Я тосковала по спокойствию и миру, и знала, что в Тебе я никогда этого не обрету.

Ты подвержен брожению, мятежности. Это приводило меня в отчаяние. Ты также знаешь, что я — и в этом моя беда — никогда не смогу Тебя забыть. Даже в этот час я хочу прийти к Тебе и рассказать, как всё сложилось на сегодняшний день, — но я не могу, я не должна.

Наши души потеряли друг друга. Но они вечно будут друг друга искать.

Герта Хольк».

Я в последний раз пишу Герте Хольк.

«Ты выносила в сердце, Герта Хольк, решение написать мне напоследок и наверстать то, что, собственно, уже должно было быть сказано месяцы назад. И всё же хорошо, что теперь это сказано. Сказанное к месту слово разряжает атмосферу.

Мы отделились друг от друга. Так должно было случиться. Мы наполняли друг друга до последнего. Такова оказалась наша судьба.

Отчего Ты должна возвращать мне всё, что от меня получила

— веру и надежду? Праздный вопрос. Я хотел прожить жизнь для Тебя. Ты не поняла меня. Может быть, Тебе не дано меня понимать. Ты сердилась, если я избирал иной путь. Ты надеялась, что мои буря и натиск однажды закончатся. Ты не видела, что я уже начал прокладывать новый, торный путь, только расположен он выше, чем золотая середина. Я хотел пробудить нечто новое в Тебе и во мне, нечто, чего я и сегодня ещё не могу объяснить. Ты не смогла ждать. Ты видела только революцию, где были мучение и надлом. Я делал то, что должен был делать.

Я буду любить Тебя до конца моих дней. Так почему же я должен был остаться столь безутешным оттого, что потерял тебя? А я не отчаиваюсь. В себе я несу к осуществлению свой устой. Во мне исполняется наше время.

Твоя прелестная рука стала для меня холодной. И, полагаю, однажды и мои руки станут холодны, а сердце перестанет биться. Кто знает, когда это произойдёт? Не раньше и не позже, чем исполнится тот устой.

Я буду продолжать поиски дальше. Я должен найти путь к высвобождению. Я знаю, что Ты благословишь мои шаги».

27 апреля.

Я иду будто бы по чужому городу, отделившись от людского потока, о котором я не знаю, откуда он вытекает и куда втекает. Я ни о чём не думаю, лишь иду дальше и дальше, навстречу цели, которой я не знаю.

Я сижу в зале, в котором мне не доводилось бывать прежде. Среди людей, которые мне чужды. Бедняки, люди, удручённые горем. Рабочие, солдаты, офицеры, студенты. Это германский народ послевоенного времени. Можно различить старую, изношенную униформу, мундиры, грязные и изодранные, как скорбные символы великой войны. Всё это видится мне почти как во сне.

Я едва замечаю, как один вдруг встаёт на возвышении и начинает произносить речь. Сначала запинающаяся и застенчивая, будто бы он подбирает нужные слова, она нарастает, словно стесняемая узостью границ.

Вдруг, разом, поток речи высвобождается. Я захвачен, я вслушиваюсь. Тот наверху выигрывает темп. Над ним точно сияет свет.

Честь? Труд? Знамя? Что я слышу? Неужели в этом народе есть ещё тот, на кого Господь возложил Свою благословляющую десницу?

Люди начинают распаляться. Изрытые, серые лица освещаются лучами надежды. А тот стоит и поднимает вверх сжатый кулак. Его серый воротник становится ему слишком тесным. Его лоб мокрый от пота; он утирает его рукавом.

На втором месте слева от меня сидит старый офицер и плачет, как ребёнок.

Меня бросает то в жар, то в холод.

Я не знаю, что со мной происходит. Мне таково, будто я слышу грохот орудий. Точно в тумане, я вижу, как двое солдат встают и кричат: «Ура!» Это неописуемо.

А тот говорит наверху. Перекатывает булыжник за булыжником для собора будущего. То, что во мне жило годы, обрело облик и приняло осязаемую форму.

Откровение! Откровение!

Посреди руин возносится и высоко реет знамя.

Вокруг меня сидят не чужие отныне люди. Ведь всё это братья. Тот, серый и измотанный, в расстёгнутом солдатском мундире, улыбается мне. «Соратник!» — ни с того, ни с сего обращается он.

А я чувствую себя так, что сейчас вскочу и закричу: «Мы все соратники. Мы должны встать заодно!»

Я еле сдерживаюсь.

Я иду, нет, я подбегаю к трибуне. Там я долго стою и вглядываюсь в его лицо.

Это не оратор. Это пророк!

Пот струится по его лбу ручьями. На этом сером, бледном лице бушуют две пламенные зеницы. Его кулаки сжаты.

Как Страшный Суд грохочет слово за словом, фраза за фразой.

Я больше не отдаю себе отчёта.

Я как невменяемый.

Я кричу: «Ура!» И никого это не удивляет.

Тот наверху на мгновение замечает меня. Эти голубые зеницы поражают меня, как огненные струи. Это приказ!

В это мгновение я родился заново.

С меня будто осыпался весь шлак.

Я знаю, куда лежит мой путь. Путь зрелого.

Больше я ничего не слышу. Я словно опьянён.

Вмиг я вскакиваю выше; возвышаюсь, стоя на стуле, над этими людьми и кричу: «Соратники! Свобода!»

Я не помню, что происходило после этого.

Помню только, как в хлопке моя рука соединилась с рукой кого-то другого. Это стало торжественным обетованием жизни. И мои глаза потонули в двух огромных, голубых звёздах.

28 апреля.

Я больше не хочу видеть тебя до тех пор, пока меня не осенит Божье озарение.

29 апреля.

Я окончательно пресытился Мюнхеном.
Я слишком долго здесь пробыл.
Мне нужно в другой город.
Рихард зовёт меня в Гейдельберг. Я всё ещё не решаюсь.

30 апреля.

Завтра с утра я уезжаю. В Гейдельберг!
Без разницы, где находиться.
Я ни с кем здесь не прощаюсь.
На улице я встречаю Агнес Шталь.
Я смотрю ей в глаза, она всё знает.
«Когда Вы уезжаете?»
«Утром».
«В добрый путь!»
В её глазах появляются слёзы.
Мне известно, что меня дожидается Иван Войнаровский. Но я к нему не иду. Последнее письмо из Мюнхена я пишу матери.
Во мне происходит революция!
Я многое потерял и многое приобрёл.
Я шагаю навстречу высшему закону: ты должен пожертвовать собой.
Пожертвовать собой ради других! Ради ближних.
Итак, я намерен вступить на свой жертвенный путь.

5 мая.

«Я прибыл в Гейдельберг, чтобы начать заново».
«Ты упорствуешь в своём одиночестве. Оно становится тебе по нраву. Ты превратишься в чудака».
«Я много пережил, и мне требуется несколько переварить всё это».
«Здесь тебе следует взяться за работу, Михаэль».
«Готовясь к экзаменам?»

«Да, можно сбалансировать».

«Я не знаю. Вся так называемая духовная пища в университете создаёт мне помехи, и я не могу сориентироваться.

Идеи для меня не ограничиваются деятельностью или профессией. Они для меня — нечто большее, необозримо большее.

При этом профессия второстепенна. Мы же здоровы. Я всегда смогу заработать себе на хлеб».

«Собственным трудом?»

«А почему бы и нет? Любая профессия и любой труд подразумевает результат. Нам следует заново это понять.

А мы до сих пор высокопарно рассуждаем о том, этично ли это — трудиться. Почему мы должны стыдиться работать так, как зарабатывают свой хлеб миллионы?

У нас до сих пор отсутствует мужество пойти до конца. Но, быть может, труд однажды явится нашим освобождением».

«Весело».

«Нам весело всё, чего мы не понимаем. А мне бы хотелось прокладывать дорогу. Только нужно время!

Мы должны дождаться, пока в нас всё созреет».

«У тебя столько задатков для того, чтобы достичь чего-то в духовной сфере».

«Но я хочу большего, чем просто чего-то достичь. Я хочу творить, работать, созидать; хочу прокладывать пути в иное будущее.

Среди нас должны найтись те, кто подадут пример в виде самих себя.

Ты уже видишь сам, как плачевно и убого стало в наших университетах. Как опустошились здесь все молодые таланты.

Будущие народные вожди! К слову, и об этом. Тут всё ясно. Наши сегодняшние вожди вышли из их рядов. Можно подумать, это даёт им привилегию называться вождями; карапузы, а не мужчины!

Есть люди, которых война ничему не научила. Они считают, что всё и ныне должно продолжаться, как раньше. Лишь меньшинство предчувствует тот новый германский тип, который сумеет придать нашей материальной необходимости исторические масштабы.

Это не имеет ничего общего с мятежом. Это революция! Взрыхление, прорыв, наступление на все алтари.

Война ad absurdum[1] обнажила то, как глубоко мы пали. Два с половиной миллиона оказались бессмысленной жертвой, чтобы только мы поняли. Во имя этого от нас сегодня и требуется искупление.

Я желаю искупить этот долг.

И напоследок могу сделать тот вывод, что мне необходимо заново оформиться; снова мне самому».

Рихард и я стоим на Шлоссберге, на Камне Гёте, и взираем на прелестный Неккарштадт, в аромате цветов пролегающий внизу. Восхитительный майский час пополудни.

Город освещён солнцем.

Тонкий дымок, устремляясь в воздух, завивается над каминами домов.

Вдалеке чётко видна граница, отделяющая наши места от крупного города с присущими его облику строениями и башнями.

8 мая.

Я стою перед замком и, запрокинув голову, взираю на твёрдое, мужественное великолепие этого уникального строения времён Возрождения.

Странно: постепенно детали ускользают из внимания и едва не исчезают из виду. Я вижу только целостность, сущность, в малом как в большом.

Замок мнится мне красноцветным памятником усмирённой мощи.

Нам необходимо вернуться назад к действительности, к возможностям, к сосредоточенному труду и к результату.

Я часто думаю о Герте Хольк. Иногда я на пороге отчаяния.

То, что ввергает нас в глубокие переживания нашего времени, нам следует подчинять, вливая в новые, великие формы.

Дисциплина и собранность — вот что нам необходимо. Переформировывать жизненные страдания в жизнеутверждающий фактор.

Изъян нашего времени — несобранность. Мы все от этого страдаем.

Все рвущиеся силы нам следует обратить на новую, великую цель.

Мы, молодые, должны не только требовать, мы должны и исполнять.

Многие наши современные мастера подобны математикам. Отнимите у них их самопровозглашённые гипотезы, и кроме формул им нечего будет сказать. Тогда их стройные концепции рухнут, как карточный домик.

Они творят мозгами, но не сердцами. Они весьма преуспевают. Они всегда избегают риска, оставаясь смешными и докучными.

Я не работаю, поскольку у меня всё ещё нет цели.

Я подавлен и несчастен.

13 мая.

Как же ничтожно это время! Повсеместное разложение и распад. Ни строительства, ни наступления, ни продвижения вперёд.

А здесь май щедро расточает полноту цветения. Пёстрое, дурманящее великолепие.

Сплав по Неккару. С обеих сторон зелёные прелестные гряды холмов в праздничных платьях.

15 мая.

Я испытываю мучительную боль за несчастный, заблудший, потерянный народ.

Но при наших силах мы не сгинем.

Я хочу стать достойным его.

17 мая.

Гейдельберг!

Идёшь по улице. Иностранцы и путешествующие парочки молодожёнов. Дюжину раз спрашиваешь дорогу к замку.

Ученик пекаря в жаркий послеобеденный час громко и беспардонно высвистывает: «Старый Гейдельберг, ты прекрасен!»

Лениво тянутся повозки. Что-то толкует кучер.

Студенты в разноцветных шапках, с лицами в широких рубцах[13]. Спесиво и надменно движутся по центральной улице.

Свистят сигналы сообщения. Сверху распахиваются окна. Куртки сапожников, лица юношей.

На Людвигсплац пусто.

Перед книжным магазином перешучиваются студент со студенткой.

Мне больше не в радость посещать лекции. До вечера я просиживаю на Неккаре. Затем устало и раздосадовано возвращаюсь домой.

Меня дожидается Рихард. Он приносит мне политические сочинения и речи. Я ощущаю к ним глубокое отвращение.

Я не хочу его обидеть и обещаю ему прочесть.

«Здесь дух современности!»

«Да, в известной мере он выхолощен и хорошо адаптирован стариканами для общественности. Остальное остаётся в тени.

Можно ничего о том и не знать».

«Но мы живём в революционный век, что заставляет переоценивать все ценности. Дух современности пробивается отовсюду».

«Справедливо сказано. Разбиваются лишь малодушие и предательство. Заявляют же о себе честь и сила. Будь ты, с одной стороны, прогрессист, а, с другой, реакционер, я охотно решусь не соответствовать. Ваша революция была не революцией. Вы только разбили формы, но не изменили содержания. Подняли новое знамя, дали ему новый слоган — и довольно. И разразится исторический скандал, дескать, вы отважились поднести нам к столу революцию.

Как часто настоящая революция, потрясавшая историю, всегда начиналась с опорой на такой фундамент, как сила оружия!

Поэтому начните с собственной капитуляции.

Ваш штат, как вы его величаете, тогда пусть, что называется, тоже последует за вами».

«Мы совершили именно революцию пацифизма. Мы впервые в истории начали с того, что сложили оружие. Остальные пусть последуют за нами; это произойдёт не сегодня, так завтра».

«Как наивно полагать, что глупость заразительна. Ведь вам давно надавали пощёчин те, кому вы служите.

Но довольно об этом: ни у кого из вас нет права говорить о социализме. Вы продали социализм, обменяв его на денежные кредиты, и договоры, которые вы заключили — это свидетельство о смерти социалистического избавления.

Я не против революции. Напротив! Но я презираю трусливый мятеж, не желающий ничего иного, как сбросить одних трусов, чтобы на их место возвести других трусов.

По ту сторону располагается Франция, наш общий враг. Её негритянские армии стоят на Рейне. Попробуйте им повозражать; сложите оружие и ждите мировой совестливости».

«Что тут поделать?»

«Провозгласить сопротивление. Если до нации вам слишком далеко, чтобы ещё раз рискнуть ради этого жизнью, то хоть встаньте грудью за социализм, которому в случае, если он прав, угрожает весь мир».

«Социализм — это мирное учение».

«Это глупая и не логичная фраза. Всё, что представляет ценность, подвергается угрозе обесценивания. Поэтому ценность

следует защищать от этого. Так и с социализмом. Но такой социализм, какого желаете вы, не представляет собой ценности».

«Труд и война — это несовместимые вещи».

«Нет! Труд и есть война! Великое четырёхлетнее сражение и было войной за труд. Труд против денег! Хлеб против золота! Вы не окончили эту войну. Вы лишь перевели её на иной уровень.

Когда стало ясно, что нас, трудовых солдат, не поставить на колени оружием, нас расстреляли стрелами с ядом. В то время, как незримые герои, истекая кровью ран, падали на землю, вы стояли и кричали: «Да здравствует республика!»».

«Мы освобождали труд от ярма капитала».

«Сколько слов, сколько бессмыслицы. Вы освобождали труд от тисков индустриальных королей и втискивали его же в дурное денежное тягло. Вот и вся ваша хвалёная революция.

Звучит цинично: на место промышленных магнатов заступили денежные магнаты. Но так оно и стало!»

«Начни мы сопротивление, это стало бы бессмысленным кровопролитием».

«Ах, вы фразёры! Кровопролитие никогда не бессмысленно, даже если кажется, что для него не было видимой причины. Ибо тогда началом нового порядка было бы признано мужество, а не трусость. Тогда мы остались бы народом, пусть нуждающимся, но народом. А сегодня мы лишь пара клочьев от того народа, трепещущих под рабской плетью мировых заправил».

«Но мы уже постепенно снова сплотились друг с другом, мы, германцы».

«Ни разу! Да ни разу же! Вы мечены судьбой, на ваших лбах горит Каинова печать братоубийства. Вы будете разбиты, если Германия вознамерится жить».

«Это всё твоё зазнайство».

«Да, я столь же заносчиво выступаю против рыцарей удачи наших неудач. Я не собираюсь мириться с новым положением вещей. Потому что эти новые вещи, в действительности, — старые и отжившие. Вам придётся сожрать самих себя, пока вас не придушили».

«Ты грубеешь».

«От грубого бревна грубая и щепка».

Мы ещё долго препираемся, до тех пор, пока не разгорячился и он. Мы больше не понимаем друг друга.

26 мая.

Ландшафт вокруг Гейдельберга мил и прелестен. Округлые,

согласные гряды холмов. Глаз радуется.

Я охотно спускаюсь по течению Неккара до самого Неккар-Гмюнда.

Долгие, красивые улицы ведут вдоль цветущих садов.

29 мая.

Господу не угодно то, чем я здесь занимаюсь. Но у меня по-прежнему не достаёт мужества. Я жду, пока это не станет невыносимым.

Временами я сижу в читальном зале, читаю кучи газет и занимаюсь политикой.

Не всё ли сегодня политика? Если спекулянт с украденными у нас деньгами, покупает себе мандат в Рейхстаге, обделывает делишки с представителями народа в кулуарах парламента, то это означает, что он занят политикой.

Таковы демократические партии: деловые группировки! Больше ничего. Мировоззрение? Что это значит для реакционных представлений? Честь, верность, вера, убеждение? Товарищ, Вы ищете вчерашний день!

Слева и справа, справа и слева один большой клубок коррупции и позора. Этот героический народ отрастил тучный живот, ещё хуже, чем у псины.

Партиям продлевают жизнь неразрешённые вопросы. Поэтому у них и отсутствует заинтересованность в их разрешении.

Эта система перезрела до загнивания.

Совершить против неё переворот должны умы и кулаки. Справа и слева ещё имеются тысячи вытесанных из лучшего материала. Им нужно двинуться сообща, чтобы взять в свои руки судьбу Отечества.

Заниматься народной политикой означает создавать для народа хлеб.

Заниматься партийной политикой означает бороться за место подле кормушки.

Со второй разновидностью политики я не желаю иметь ничего общего.

3 июня.

Мне наскучило духовное. У меня вызывает отвращение любое печатное слово. Я не нахожу в этом ничего освобождающего.

Рихард немного помогает мне.

Бывает, я с ним непозволительно груб.

Порой я часами сижу в нерешительности, ничего не делаю и ни о чём не думаю. Затем я снова становлюсь одержим тысячей дьяволов, выковываю план за планом. Но я не приступаю к осуществлению. Каждый вечер я читаю Нагорную Проповедь. В ней я не нахожу утешения, лишь отчаяние и стыд. Она не говорит мне ни о чём.

В высших учебных заведениях Германии можно много работать, но мало сделать для будущего. Всё это лишь вспомогательная работа.

Нам никогда не принесёт освобождения учёная премудрость!

7 июня.

Если снова взять Христа, каков Он был, может быть, Он стал бы нашим освобождением.

10 июня.

Мне представляется новое Отечество.

Такое Отечество я способен полюбить снова. И чем постыднее его позор, тем раскалённее моя к нему пылкость.

Ища нового человека, я ищу, прежде всего, германского человека.

Я хотел бы глубоко укорениться в родной земле этого Отечества. Оно — матерь моих помыслов и порывов.

Мы не желаем оставаться слепыми к своим ошибкам и недостаткам. Но мы желаем признать их, потому что это наши ошибки и недостатки.

Новый национализм станет будущим Германии — вовсе не реставрацией однажды распавшегося прошлого.

Что такое национализм: мы отстаиваем Германию, потому что мы — германцы, потому что Германия — наше Отечество, германская душа — наша душа, потому что все мы — часть германской души.

Я не выношу хвастунов, у которых никогда не сходят с уст слова «Отечество» и «патриотизм».

Отечество — это то, что должно стать чем-то само собой разумеющимся для нас.

Вся наша германская история есть не что иное, как беспрерывная череда борьбы германской души против её неприятелей.

Душа германца — фаустианка![14] В ней заложено инстинктивное стремление к труду и возможности, а также вечная тяга к духовному освобождению. Существует германская идея, подобно тому, как существует идея русская. Им обеим однажды предстоит схлестнуться в споре за будущее.

15 июня.

Россия представляет для нас опасность, которую нам надлежит преодолеть. Но, если мы желаем преодолеть её, мы должны её знать.

Во-первых, теперь я постепенно начинаю понимать, что представляет собой Иван Войнаровский. Он очень несчастный человек. Панславизм обрекает его на гибель.

Я всё ещё не могу освободиться от влияния Ивана Войнаровского.

Борьба, несущаяся по сегодняшней Европе, — это борьба между новообразованными аристократическими слоями.

Каждый век, если он имеет исторический ранг, был сформирован аристократами.

Аристократия = господствуют лучшие.

Никогда народы не управляют сами собой. Это безумие изобрёл либерализм. Его народным суверенитетом прикрываются лишь продувные шельмы, желающие, чтобы их никогда не узнали.

Как видно, — дешёвое надувательство, поддаться которому может только полный глупец.

Победа массы: какое безумие! То же самое, если бы я сказал: мрамор выполняет работу скульптора. Произведение искусства без своего создателя! Народ невозможен без вождя. Мир — без Бога!

История — это ход решений отдельных людей. Побеждают не армии, а их командиры.

Европа будет заново воссоздана теми народами, которые раньше всех преодолеют иллюзию массы и найдут обратный путь к принципу личности.

Слой новой аристократии, несомненно, возникает и на почве новых законов. Традиция сменяется посредством достижений. Лучший! — этот титул должен стать не наследственным, а благоприобретённым.

Гении — это всегда только высшие формы проявления народной воли. Они, в известной степени, представляют воплощение творческой народности.

Дуб не может расти без почвы, корней и силы. Не может

возникнуть из ниоткуда и человек. Его почва — народ, его корни — история, его сила — кровь.

Великие идеи всегда пробиваются из меньшинства. Но, в конечном итоге, они укореняются так, что целые народы становятся им обязанными самим своим существованием.

Произведения искусства, изобретения, идеи, битвы, законы и государства — их началом и концом всегда является человек.

Питательная почва всех творческих сил — это раса. Человечество — это всего лишь допущение. Действительность — это только народ. Человечество — это не что иное как множество народов. Народ органичен. Человечество лишь раньше было органичным.

Быть органичным означает сохранять в себе способность культивировать органичную жизнь.

Лес — всего лишь множество деревьев.

Я не смогу уничтожить народы, чтобы получить человечество, так же как не стану корчевать деревья для того, чтобы улучшить лес.

Деревья — это то, что в совокупности являет лес.

Народы — это то, что в совокупности являет человечество.

Чем более разрастается дуб, тем пуще он украшает лес.

Чем более разрастается народ — тем более он народ, ещё жизнетворнее служащий человечеству…

Всё остальное надумано и не жизнеспособно. Потому что не способно выдерживать перед историей.

Меньшинство настанет тогда, когда оно подключит лучших повернуть колесо германской судьбы.

Мы должны стать ещё мужественнее, умнее, решительнее и твёрже характером, чем некоторые; тогда мы гарантированно победим.

Нам нечего ломать голову над тем, что в других народах заправляет отребье. Тем скорее мы получаем возможность осуществиться сами.

Имей бразды правления в своих руках отважнейшие, они бы открыто провозгласили: «Мы осуществляем диктатуру: ради этого мы принимаем на себя ответственность перед историей — кто первым швырнёт в нас камень?»

Имей бразды правления в своих руках трусы, они бы сказали: «Властвует народ; мнитесь перед ответственностью и побивайте камнями того, кто борется против этого лицемерия».

Господствовать всегда будет меньшинство. Народ — лишь имеет выбор, желает ли он жить под открытой диктатурой отважнейших или хочет погибнуть под лицемерной демократией трусов.

Вывод до очевидного логичен.

20 июня.

Я надеваю свой шлем, достаю свою шпагу и декламирую Лилиенкрона.

Порой мной овладевает такой приступ.

Быть солдатом! Стоять на посту!

Можно быть солдатом всегда.

Солдат на службе революции своего народа.

Тогда я с дрожью думаю о пожарах и опустошениях. Мне видятся дымящиеся в вечернем свете руины домов и деревень. Вверх взметаются столбы пламени. Шум и грохот сражений.

Мне видятся выбитые глаза и слышатся исполненные боли стоны умирающих людей.

Мои руки черны от пороха, мундир красен от крови. Нет, в войне нет ничего хорошего.

Я слышу громкие слова приказов, крики «Ура!» Я в унисон кричу: «Ура! Ура!»

Я больше не человек. Мной овладевает дикая ярость. Я чую кровь.

Я кричу: «Вперёд! Вперёд!» Я хочу стать героем!

Моё сердце разрывается. Что мне до сердца? Я кидаюсь в огненный дождь.

Я — герой, бог, освободитель.

Я сам в крови. Моя рука безжизненно повисает.

Я истёк кровью. Теряю сознание.

Я изможден и падаю.

Я пробуждаюсь от глубокого сна. Лежу один в просторном, бескрайнем поле.

Сражение окончено.

Вдали ещё звучит грохот канонады.

Небосвод высок и густо усыпан звёздами. Поодаль багровеет огненно-красный свет.

В глубине души я потрясён и взбудоражен.

Я почти не чувствую своих ран.

Я немею перед величием этого переживания.

Это война!

Война на жизнь и на смерть!

Как жестоко всё живущее. Мне ничего с этим не поделать. Я лишь твёрдо стою на том, как оно есть.

И мне думается, что та высшая Сущность, пожалуй, имела основания для того, чтобы устроить всё именно так, а не иначе.

Вечный мир — это мечта, которой достаточно для политики. Солдат мог бы добавить: но ни разу не прекрасная.

Кроме того, вся жизнь — это война.

Первым культурным деянием явилось то, что человек выковал плуг и меч. Плуг для мира, меч для войны.

Воистину, как без ночи нет дня, так без войны не может быть мира. Одно обусловливает другое. Война и пашня, меч и плуг — вот понятия, что взаимосвязаны друг с другом, как мужчина и женщина.

Крестьянин погружает плуг в комья земли. Из зерна вырастает хлеб. На границах земельных угодий, опершись на свой меч, стоит воин и несёт стражу.

Крестьянин и воин: это солдаты за хлеб наш насущный.

Так заведено Господом. Так было вечность и вечность так пребудет.

24 июня.

Из Мюнхена мне пишет Агнес Шталь:

«На следующей неделе я еду в Гейдельберг; тогда мы увидимся снова. Вы счастливее, чем мы, ведь взор Ваш ясен, и Вы отважен. Это то, что называют гражданским мужеством. Вы не цепляетесь за жизнь. Это делает мужчину сильным. Только теперь, когда Вас больше нет здесь, я замечаю, какая от Вас исходила полнота деятельной силы.

Виной тому Ваша молодость. Вам не след отчаиваться.

Нет, это мне не след отчаиваться.

Я должна заручиться мужеством.

Скоро встретимся, Агнес Шталь».

Всё во мне возмущается против здравого рассудка.

Я стою перед финальным наступлением.

2 июля.

«Я должен приступить к труду. Агнес Шталь, в этом моё последнее спасение».

«Вы всегда трудились».

«Нет, я был мечтателем, эстетом, краснобаем.

Я хотел освободить мир фразами.

Я жалел самого себя.

Теперь мне хочется вмешаться в ход вещей. Разве можно сохранять нейтралитет, когда двое противников, вооружённых до

зубов, соперничают за будущее?»

«Двое противников? Где и когда?»

«Конечно, Вы их не видите, не хотите видеть. И, тем не менее, это так. Нас поработили деньги, а труд нас освободит. С политической буржуазией мы шагали в бездну, с политическим рабочим движением мы воспрянем снова».

«Вы против классовой борьбы и проповедуете господство единственного класса?»

«Рабочее движение — это не класс. Класс образуется экономически. Рабочее движение имеет свои истоки в политическом. Это историческая данность. Народы что-то значат, если в чём-то занимают господствующее положение. Политическая буржуазия — ничто, она и стремится оставаться ничем. Она стремится только выжить, тривиально выживать. От этого она и погибает.

Жизнь обретается только тогда, когда существует готовность принять за неё смерть!

Рабочее же движение выполнило бы эту миссию, прежде всего, в Германии. Оно должно сделать свободным германский народ в стране и за её пределами. Это — мировая миссия. Если Германия погибнет, тогда в мире угаснет свет».

«Вы не вполне умерен».

«Только люмпены умерены. Чем меньше я желаю для себя самого, тем более страстно я борюсь за права моего народа. И, так как я вижу его проданным буржуазии, я ставлю черту под прошлым и приступаю к труду сначала».

«Делайте революцию сколько Вам угодно, но жир всегда останется плавать на поверхности».

«Разумеется, пузаны всегда будут править посредством высоких фраз; они обзаведутся виллами и будут держать речи на торжественных заседаниях. Человек массы господствует сегодня и будет господствовать завтра. Но мы сделаем вот что: впишем наши имена в историю. В одиночку!

Иные хотят жить. Поэтому они умрут для будущего. Но те, кто отрекается от жизни сегодня, будут жить завтра».

«Зачем отрекаться? Кто возблагодарит Вас за это?»

«Благодарность? Я не знаю такого слова. Мне не нужны благодарности. Никому они не нужны. Мы желаем творить историю. Какую роль в этом играет отдельная жизнь?»

«Вы сами происходите из бюргерской среды».

«Тем сильнее я научился её ненавидеть. Видимо, нужно пройти через что-то, чтобы научиться любить и ненавидеть.

Я презираю бюргера за то, что он трус и не желает более бороться. Он всего лишь ещё одно зоологическое существо,

больше ничего.

Солдаты, студенты и рабочие выстроят новую империю. Я был солдатом, теперь я студент, и хочу стать рабочим. Я должен пройти через три эти ступени, чтобы явить путь. Если я отказался от разговоров, я желаю начать действовать. Каждый на своём месте».

«Вам нравится жертвовать?»

«Да, это мой долг. Мне это не нравится, но я должен. Я должен подняться в бездну бездн. Нам предстоит начать снизу.

До сих пор мы наследовали. Мы с благодарностью приняли вручённое.

Нам предстоит снова начать приумножать.

Отныне я желаю стать решительным и напрячь себя полностью».

«Вы всегда напрягались полностью; Вы демонстрировали лишь усердие и самоотверженность».

«Но в ошибочных вещах. Новый германский человек нужен в мастерских, а не в книгах.

Мы достаточно писали, несли вздор и парили в эмпиреях; теперь нам нужно работать».

«Тем самым Вы себя угробите».

«Нет, я буду жить. Я стану началом».

«Труд лишит Вас благородства и низведёт до положения батрака».

«Нет, это я облагорожу труд. Труд — это не вещь в себе, это лишь ступень».

«Вы посрамите нас всех».

«Мне не нужен заработок, мне нужно так быть и так поступать».

Мы долго молчим; уже поздно, и день догорает.

8 июля.

«Я возвращаюсь в Россию и с надеждой и горечью беру с собой мысли о Вас. Быть может, однажды наши клинки скрестятся ещё раз; если не нас самих, то наших идей. Мы не поквитались. Ваш мир и мой мир должны будут однажды сразиться за окончательную форму бытия. Возможен ли их синтез? Мне хотелось бы на это надеяться, но я с трудом в это верю. Природу не изменить. Вашим старейшим законом является борьба.

Итак, борьба! Но борьба честным оружием!

Поэтому я срываю маску и демонстрирую Вам своё истинное лицо: я — русский!

Я хочу, чтобы Россия построила новый мир. Вечный Рим. Великое новое «Р»: Россия. Всего наилучшего!

Агнес Шталь рассказывает мне, что Вы хотите начать работать снизу. Я достаточно Вас знаю, чтобы разуметь, что Вы воистину претворите Ваши намерения. Вы делаете поразительный шахматный ход. Мне нужно время, чтобы его отпарировать.

Вы быстро приходите в готовность; Вы ведёте борьбу инстинктивно, я же веду её с осознанием дела.

Вы для меня — германская молодёжь, которая стоит на идее освобождения самой себя. Вы сильны, но мы будем сильнее.

Иван Войнаровский».

Вот я и освобождаюсь от тебя, Иван Войнаровский!

Я знаю, что мне нужно делать.

Ты, без твоего на то желания, указал мне путь. Я должен найти освобождение.

Да, мы скрестим клинки, — германец и русский.

Германец и славянин!

12 июля.

На меня со стихийной силой обрушивается безысходность.

Я ненавижу этот мягкий Гейдельберг!

Беспокойство! Порыв!

Я стремлюсь к труду.

Я больше не выдерживаю мёртвых книг.

Я желаю состояться. В нас действует нечто большее, нежели интеллект.

Мы должны сформировать новый труд.

Интеллект безжизнен. Он не способен заполнить бытие.

Я желаю приступить к делу. Без компромиссов.

Как можно писать книги и копить знания, если империя лежит в руинах? Неужели сегодня нет мужчины и женщины, старика и мальчишки, могущих приложить руки к труду за свободу?

Где солдаты войны? Они заполняют платёжные ведомости, покупают и продают товары, что-то производят, сидят в мире, как беспомощные дети — а Отечество катится псу под хвост. Где этому предел?

Германия — денежная провинция, заваленная договорами, каких не навязать ни одной негритянской народности; на верхушке государственники, которые, разумеется, ведут переговоры и продают то, что им не принадлежит.

Солдаты! Солдаты!
Рабочие! Рабочие!
Где тот дух, что не рухнул под Верденом?
Разбейте трусость в щепы!
Я не хочу отчаиваться.
Я вижу в духе легионы на марше.
Будь прокляты деньги!

17 июля.

Я ищу связность и блуждаю в хаосе.

«Хоть убей, мы потерялись!
Заплутали! Как же быть?
Чёрту-дьяволу попались,
Вот и рад он нас дурить».

26 июля.

Я у цели. На душе у меня покой.
Семестр завершён. Закончилась аудитория и книжная пыль.
Я написал матери. Моё решение твёрдо:
Я хочу спуститься в шахту, стать горняком!
Стать самым ничтожным из бедняков.
Я желаю трудиться. Подавать пример.
Освобождать самого себя; прокладывать путь для других.
Через жертву к спасению!

4 августа.

Ещё пара дней в родном краю!
Старая деревня, отчий дом, Нижний Рейн!
Так-то!
Перед восходом солнца я хожу полями. Над землёй клубится туман. Ещё полная тишина.
Я шагаю, шагаю, как во сне.
Отдельными рядами стоят стройные берёзы.
Солнце борется с мраком и серостью.
Я иду одинокими полями.
Тяжёлый дух исходит от пашни. Дух земли.

Дымятся паром её бугры; поле переживает роды. Восходит плод.

Священный час творения!

Набирает высоту полевой жаворонок. Тирили! А вот другой.

Прибывает свет. Вспыхивает целым океаном.

Солнце поднимается в высь, отливая красным, кроваво-красным. Земля покрыта золотом. Родной край! Земля! Мать!

В отдаленье видно дома, деревни, островерхие колокольни.

Туман поднимается в высь.

Берёзы начинают источать свечение.

Я иду сырыми луговинами.

Ты не рисуешься, родной край. Ты не лучишься в праздничных одеждах и не облачаешь свои плечи в пурпур великолепия.

Ты скромна, земля родного края! Но в твоих недрах прорастает семя. Ты приносишь изобильный плод.

Далеко простирается взор над твоими равнинами. Взгляд достигает горизонта.

Твои люди преданны и прилежны, тихи днём и исполнены живой радости, если вечер дарует час отдыха.

Вдали фабричные и дымовые трубы. Там начинается рабочий день в городах.

Пашня и фабрика приходятся одно в другое.

Из тебя я вышел, родной край. В тебе мне остаться!

Ты даёшь мне силу и жизнь!

Я лишь ещё глубже укореняюсь в тебя.

7 августа.

Я прощаюсь с матерью. Тихий, решительный час.

Мы сидим в большой кухне у очага.

«Я знаю, что ты желаешь справедливости, потому благословляю твои намерения».

«Нам нужно что-то делать, мама, иначе нас сожрёт жизнь. Нам нельзя оставаться спокойными».

«Тебе придётся много перенести и ещё больше преодолеть. Но я верю в тебя».

«То, что движет мною, — это не тщеславие и не пресыщенность. Я должен, и больше мне ничего не известно. Я не хочу быть наследником. Я желаю начать ради себя самого, начать снизу. Разумеется, я работаю не ради работы, а ради избавления».

«Твой путь принесёт тебе и нам множество страданий. Ты

идёшь этим путём, потому что считаешь себя вполне готовым. Я не сомневаюсь, что ты пойдёшь до конца».

«Я черпаю всю силу из родного края. Я силён, поскольку у меня есть корни».

«Можешь не продолжать, я знаю, что они тянутся за тобой».

«Много можно не говорить, если много видно. Так я пока не могу».

«Ну, с Богом! Я верю в тебя! Ты ничего не знаешь о собственных силах. И всё же им помогать тебе до конца.

Случится час, когда ты останешься в полном одиночестве. Тогда вспомни о том, что у тебя есть эти силы. Не забывай молиться! Всякий молится на свой лад. Труд — это тоже молитва». «Прощай, мама!»

Она ещё мгновение стоит в нерешительности и в отчаянии. Я вижу, как слёзы бегут по её старым, впалым щекам.

Мне кажется, у меня разобьётся сердце.

И тогда я впервые целую её любимую натруженную руку.

10 августа.

Меня окружает шум. Пар и работа!

Вся земля бушует от созидания.

Работа!

Город сер и убог. Дома прокопчённые, люди серьёзные и неразговорчивые.

Чёрные толпы перекатываются по улицам, узкие, бледные лица, склонённые шеи. Дети сидят по углам улиц и попрошайничают.

Перед лавкой стоят женщины с морщинистыми, серыми лицами.

Вечер. Светят дуговые лампы. Свет над нищетой и грязью.

Я испытываю спазмы в области сердца.

По узкому, тесному переулку шаркаются девки и сутенёры.

Там горит красный фонарь.

Вечер будто бы бьёт по городу чёрными крылами.

Богатство и нищета живут здесь рука об руку.

Хоть плачь.

Всё отмечено гонкой и нервозностью. Бешено мчатся автомобили. Время — деньги! Отбрасывают лучи лампы.

Людской поток несёт меня сквозь улицы и переулки.

Я устал и разбит.

Больше я ни о чём сейчас не думаю.

Я стою на углу и всматриваюсь в чёрное волнение.

Мимо, шатаясь, проходят пьяные, распевая и горланя.

Тут стоит полицейский; суровый, долговязый и сердитый.

Небо серо. Беззвёздно.

Видно только дым и отдалённое пекло.

Начинается дождь. Капли, неторопливо шлёпая, падают вниз.

Устало, вяло — в самую грязь.

Я остаюсь стоять. Вода стекает вниз с моего головного убора.

Я не в состоянии идти дальше. Мои ноги занемели.

Я стою долго, пока не заглох шум, пока не опустела улица.

Грязная вода оседает в лужах.

Вдали катятся железнодорожные поезда.

Их громыхание замирает далеко в ночи.

14 августа.

Первый спуск в шахту!

Я влезаю в лифт. Я свергаюсь, лечу — это лишь мгновение, и вот я стою на твёрдой почве. Теперь вокруг меня светло.

На моей груди висит маленький шахтёрский фонарик.

Я ползу сквозь узкий, тёмный проём. Мне мнится, будто это длится уже дни, месяцы, годы. Дальше и дальше! Сквозь тесное отверстие, головой вперёд. Как кошка.

Путь никак не кончается.

Моё дыхание замедляется. Воздух тягуче жарок.

Мой лоб покрывается потом. У меня нет времени его утереть.

Руки мои пылают. Они уже начинают болеть.

А это лишь самое начало.

Дальше!

Ко мне присоединяется горный мастер. Он ползёт передо мной. Он делает это как нечто само собой разумеющееся!

Иногда он оборачивается и что-то кричит. Я не понимаю, о чём он.

Здесь не разобрать собственных слов.

В ушах у меня свист и гул.

Я слышу стук будто бы от тысячи молотов. Он шумит и ревёт вокруг меня. Чувствую, будто теряю сознание.

Ведь это же безумие!

Мои глаза болят. Больше мне ничего не видно. Моё лицо покрывается пылью.

Я ползу дальше. Наконец мы у цели.

Горный мастер инструктирует меня по части этого тяжёлого ремесла. Час. Два часа. Наконец я один. И вот я начинаю молотить.

Разлетаются куски угля.

Если я задумываюсь, мне кажется, будто бы прошли уже целые сутки.

Я гляжу на часы.

Лишь три часа с того времени, как я прибыл!

Я устал сверх всякой меры.

Мои руки словно омертвели. Кровоточат.

За работу! Я не сдамся добровольно. Можете считать меня демоном.

Я бью и бью. Я бью своими руками. Невыносимая боль!

По большому и указательному пальцам сбегает кровь. Я засовываю их в рот. Они горят огнём.

Бить! Бить! Работа подгоняет меня дальше. Я её слуга, её раб, её пёс!

Я не остановлюсь до тех пор, пока не свалюсь.

Меня охватывает желание кричать.

Мне таково, будто я кричу, реву, как голодный зверь.

От камней отскакивает огонь. Я высекаю пламя! Я высекаю свет!

Отныне я не человек. Я титан. Бог!

Подле меня склоняется горный мастер. Он удерживает меня за руку.

«Таковы все вы, юнцы, что пришли к нам из университетов. Первый день в шахте подобен опьянению. Потом это проходит.

Получасовой перерыв на еду. Тебе надо что-нибудь поесть».

Он обращается ко мне на «ты». Я бы хотел его обнять.

Да, ты мой брат. Мы все братья здесь внизу.

Не сердись на меня, не презирай меня. Я один из вас.

Он даёт мне выпить шнапсу. Я жадно пью две, три рюмки. Будто огонь, растекается он по горлу.

Я не могу ничего есть. Хлеб внушает мне отвращение.

Только пить, пить!

Моё горло словно пересохло. За работу!

Я бью целую вечность. Часы текут вяло и замедленно.

Я так устал. Мне хочется окончить пласт.

Наконец! Наконец!

Долгожданный час!

Наверх! Наверх!

Наверху снова светит солнце. Там светлый день.

Ночь окончена! День!

Никогда я не приветствовал день столь страстно.

Я окостенел от грязи. Мои руки черны и все в крови.

Пальцы слиплись. Спутанные волосы свешиваются мне на лоб.

Я устал до смерти. Все суставы болят.

Мыться! Смывать грязь и кровь!

Человек! Снова человек!

«До завтра!» — говорит мне горный мастер.

Его зовут Маттиас Грютцер. Я жму его руку.

Я бы расцеловал её. Как дорога мне эта рука, эта рабочая рука!

Я долго гляжу ему вслед.

Затем я, шатаясь, удаляюсь. Как пьяный.

Сквозь солнечный свет!

Всё снаружи так, как будто бы ничего не происходило. Всё как вчера!

Дымят фабричные трубы. Пар, чад, сажа, пламя до неба! Крики, шипение, шум, труд!

Пение в воздухе.

Песнь труда!

Я ищу что-нибудь зелёное. Ничего не нахожу.

Дерево, куст, цветок.

Ничего! Всё серое! Низкорослое, точно вровень с землёй.

Только башни, дымовые трубы, опоры, вытяжки устремляются в высоту.

Я иду дальше, шатаясь, ступаю дальше.

Быстрее, ещё быстрее!

Я перехожу на бег; я бегу, несусь. Я лечу, как ветер. Я мчусь по улицам прочь из города. Прочь! Прочь! В поле!

Повсюду башни, дымовые трубы, опоры, вытяжки!

Серым-серо, и солнечный свет надо всем этим.

Ясный солнечный свет!

Помешался ли я? Грежу?

Конец света?

Неужели людей больше нет? Или только чёрные звери? Дьяволы, шахтовые дьяволы?

И сам ли я не чёрный зверь, не дьявол, не шахтовый дьявол?

Я будто бы подгоняем демонами.

Во мне засел один, что следит за мной, тот иной, второй.

Неумолимый. Острый. Критичный.

Иван Войнаровский!

Теперь я одержим тобой, проклятый пёс!

Ты чудовище! Ты дьявол! Ты сатана!

Иди сюда, я хочу схватить тебя. Хочу схватить тебя за горло.

Тебе не осилить меня! Никогда! Никогда!

Мы посмотрим, кто сильнее.

Я хохочу. Я кричу.

Мимо меня проходят люди, недоумённо смотрят на меня,

скалятся, судачат, тычут в меня. Я бегу дальше.

Дальше! Дальше!

До самой оконечности мира!

Я борюсь с Иваном Войнаровским. Он проворен, как кошка.

Но я сильнее его.

Вот я хватаю его за горло.

Я с силой отшвыриваю его на землю.

Он повержен!

Подохни, падаль!

Я наступаю на его череп.

И вот я свободен!

Последний искуситель повержен на землю.

Яд вышел.

Я свободен!

Я остаюсь! Я остаюсь!

Я хочу освободиться. Освободиться сам, собственными силами.

Я хочу указывать путь, пробивать бреши, подавать пример.

Я кидаюсь вниз и целую землю. Тягучую, бурую землю.

Германскую землю!

Поздно вечером я возвращаюсь домой и, как мёртвый, обрушиваюсь на постель.

20 августа.

Я живу за городом в колонии, в одном из маленьких, невзыскательных домов, в семье горняка.

Моя комната простая, скудная. Кровать, стул, стол, умывальник и шкаф.

С собой я взял две книги. Библию и «Фауста».

Весь дом оглашается детским гамом. Но меня это не раздражает.

Мне нравится слышать, как играют дети, особенно после полудня, когда я возвращаюсь с работы.

Тогда я временами подолгу сижу в моей комнате и прислушиваюсь к громкому крику и визгу детей.

Прямиком вдоль колонии тянется улица. Слева и справа стоят дома. Они следуют строго по прямой. Всё время одинаковые. Простецкие, безвкусные, но, большей частью, выглядящие опрятно. На улице резвятся дети. Дети бедноты, с серыми лицами и не по годам серьёзными глазами.

На этой улице не живёт веселье.

Сами дети здесь не таковы, как дети где-либо ещё.

Заметно много сутулых и малоразвитых детей. Многие из них сидят при входных дверях и не носятся вокруг с остальными. Они наблюдают за их игрой, серьёзные и молчаливые.

Также дома всегда остаются мужчины. Это те, у кого выходные, поскольку у горняков предусмотрены смены.

Они серьёзны и неразговорчивы. Как те дети. Многие читают газеты. Но с раздражением. Некоторые что-то обсуждают.

Должен отметить, что, когда я иду по улице, меня преследуют неприязненные взгляды.

Но меняюсь и я.

Всё это так ново для меня и чуждо.

Во всяком случае, мои хозяева ворчливы и предельно резки по отношению ко мне.

Я не пишу и не получаю писем. Никто здесь не знает, кто я такой.

Я полностью сам за себя.

В свободное время я сплю или хожу по улице — вверх да вниз!

Я ни о чём не думаю. Мне ни весело, ни грустно.

Я также не могу сказать, чтобы я был счастлив. Меня поглощает тяжёлая работа. Иногда мне кажется, что я рухну под её напором.

Но тогда я стискиваю зубы и вспоминаю муки прошедших месяцев.

Это помогает.

Но я безраздельно рад возвращаться с работы домой.

Каждый день начинается одинаково тяжело.

Я начинаю понимать такое, что ранее оставалось для меня неизвестным и чуждым.

Всё же однажды нужно пройти через каждую ступень.

Всё это ступени к жизни.

Рабочий вопрос постепенно открывается мне во всей своей трагичности. Однажды его следовало прочувствовать на собственной шкуре. Поместить бы каждого капиталиста на год под землю. Тогда бы мы стронулись с места.

Что, следовательно, нужно рабочему для того, чтобы состояться? У него должна быть власть, чтобы получить право.

Власть всегда предвосхищает право.

Рабочий противостоит деньгам в той же степени, в какой Германия противостоит миру. Никакие жалобы здесь не помогут. Ты или я! Либо первый уймёт второго, либо второй сядет первому на шею.

Народное сообщество? Разумеется! Если у каждого есть свои права. Но так ли это? Должны ли мы молчать, чтобы не

поколебать ваше благоденствие? Так вам было бы в самый раз.

Мир в королевстве? Так всегда говорит только враг, проникший в королевство по спущенному подъёмному мосту и теперь насмешливо и заносчиво дразнящийся из его залов.

Как назвать то, что мы вынуждены переносить? Кто нарушил мир, тот пусть его и восстанавливает. Либо же мы вынудим его сделать это силой.

Брат мне только тот, кто видит брата и во мне.

Поразительно! Эти люди ненавидят Германию, поскольку затоптали ногами свою любовь к ней. Их ненависть — это отвергнутая, чаще же обманутая любовь.

Кто старается жить во имя страны, тот приобретает вместе с этим право обладания. Жизнь одинаково свята как для господина, так и для слуги. Оба теряют её лишь однажды.

Когда эти люди спрашивают: «Что нам до Германии?», это иногда звучит оптимистичнее, чем когда национальный писатель восклицает: «Германия превыше всего!»

Мы имеем перед собой тяжёлую задачу, тем тяжелее, чем она весомее: наверстать тысячу безответственных упущений. Если она будет выполнена — а она будет выполнена — тогда Германия снова станет оказывать своё влияние на окружающий мир.

Если однажды эти пригнутые головы поднимутся, если однажды эти усталые глаза засверкают, если однажды эти тяжёлые рабочие кулаки сожмутся, если однажды эти бледные, отравленные уста раскроются, если однажды из миллионов гортаней раздастся клич: «Хватит позора, Отечество принадлежит тому, кто делает его свободным! Где наши винтовки?» — тогда от нас вздрогнет земной шар.

Чего стоит отдельная маленькая жизнь?

Люди в шахте презирают меня. При каждом удобном поводе мне создают сложности. Ни один не разговаривает со мной.

Только горный мастер Маттиас Грютцер нет-нет, да и скажет мне словечко.

Я не знаю, отчего так происходит. Но мне кажется, что они чуют во мне господина, высокомерного господина. Я ничего не могу поделать против этого.

Может быть, они правы. Я не один из них. Пока ещё нет.

Ничто так не отделяет от этих людей, как действительное или мнимое духовное превосходство. Они пока ещё не доверяют мне.

Кажется, они, слишком часто обманываются в своих чувствах.

Вот и суть социального вопроса: мы больше не можем разуметь друг друга. Братья по крови разделены собственностью, говорят на разных языках и ведут взаимно чуждый образ жизни.

Мы стали двумя лоскутами одного народа. Верхним и нижним, между которыми стена. Это находит своё наиболее точное выражение в экономике, отражаясь, однако, на всех областях сосуществования. Нас разделяет всё то, что вообще-то должно было бы нас связывать. Это познаётся правильно только на практике.

Спустись один из таких пустословов в шахту и заговори там о патриотизме, в ответ он получит только сочувственную улыбку, а то и вовсе хорошую трёпку.

Социализм — это мост слева направо, по которому друг к другу приближаются те, кто готов на жертвы. По обеим сторонам полно отродья, сброда. Но отдельные герои стоят вплотную друг к другу. Только они найдут решение.

Я следую сверху вниз. Я хочу вывести спутников снизу вверх.

Мы хотим стать мостом. Может быть, нам также придётся подставить наши широкие спины, чтобы проложить по ним путь для других.

Пусть будет так! Эта задача стоит жертвы лучших.

Сегодня один подходит ко мне, ухмыляется и говорит: «Ты, вероятно, тоже один из спекулянтов оттуда, сверху; может, хочешь стать надсмотрщиком? Остерегайся! Мы тут работаем с динамитом!»

К моей голове прилил жар. Рука задрожала. Я был готов ввернуть этому молодчику подзатыльник.

Но я сразу взял себя в руки. Я смотрю на него свысока и говорю: «Ты не заслуживаешь, чтобы я тебя ударил. Ты не ведаешь, что творишь».

Он полностью теряется, безмолвно отступает в сторону и перешёптывается с другими.

Я знаю, что сейчас он смертельно меня ненавидит.

Я должен остерегаться.

2 сентября.

Шахта — это какой-то демон. Она поглощает меня и не оставляет мне ничего больше.

Я у неё в рабстве.

Я едва могу дождаться часа, когда снова спущусь в глубину. Мне кажется, будто там, наверху, я задерживаюсь дольше, чем требуется.

Будто бы только внизу я и нужен.

Теперь я полностью зависим от шахты.

Я получаю тот же оклад, что и остальные. Он небольшой, но

на одного вполне достаточный.

Больше мне и не нужно. Я стою на собственных ногах.

Я живу трудом моих рук.

Я сам себе господин!

Как удовлетворяет меня эта работа!

Видно результат труда. Из земли добывается уголь. Происходит борьба со стихией, почва силой принуждена отдавать свой ценный остаток.

Гордость и одиночество вместе с тем.

Мои руки шершавы, покрыты рубцами от старых и новых ран.

Несколько дней назад сорвавшийся камень выбил мне пару зубов.

Когда я смотрюсь в зеркало, я едва узнаю себя. Щёки ввалились, лицо посерело. В брови и в складки вокруг носа втёрлась угольная пыль.

«Ты не избавишься от неё помывкой, позже придётся выскребать» — говорит Маттиас Грютцер.

Во рту у меня зияет свободное пространство. Только губы всё ещё полны и налиты кровью. Но я чувствую себя свежим и здоровым. Да, мне кажется, сил во мне прибывает.

10 сентября.

Я встаю в четыре часа утра. Ещё темно.

Я одеваюсь при свечном свете. Делаю это быстро.

Чашка горячего кофе — и вперёд.

Путь до шахты далёк. Он занимает почти три четверти часа.

В пять часов происходит въезд. Мне приходится поторапливаться.

Путь тёмен. Вдали указывает направление красный свет. Я спотыкаюсь о камни и кустарник. Дальше.

Ещё холодно. Если побежать, то теплее.

Дальше!

Вдалеке передо мной показываются чёрные тени. Башни, дымовые трубы.

Я слышу гуд и пение.

Оно проникает в меня, точно дьявол, и подгоняет вперёд.

К шахте! К шахте!

Я прохожу мимо скудных пашен. Вдыхаю возлюбленный воздух земли.

Где-то вдали брешет собака.

То тут, то там на пути попадается серый дом горняка. В одной из комнат горит свет. Тоже встают на работу.

Устало и тяжко, как свинец, набирает высоту день. Всё серым-серо. Меня бьёт дрожь. Чтобы не отчаяться, мне приходится стискивать зубы.

Орёт петух. Как привет из родных краёв!

Проклятая тварь!

Только не думать.

Двери шахты! Туда!

Въезд!

Там, при въезде, сидят они — старики, юноши. Шахтёрские лампы на груди и ожидание.

Они сидят друг за дружкой. Немо, безотрадно.

Лишь здесь и там слышно отдельное словечко. Шепоток.

Я сажусь за крайним.

Удачи!

Мне ворчливо отвечают двое или трое.

Мы ждём! Дожидаемся минуты, когда начнётся работа. Наверняка с тоской от лютой неумолимой необходимости.

Земля затягивает.

Мы все — её рабы.

Проклятые рабы, взвалившие на шею тяжкое ярмо труда. Тихие, немые, без боли и без радости.

Мы ни о чём не думаем и ни на что не сетуем.

Мы тянем!

Мы не спорим и не плачем.

Пусть так и будет!

Мы тянем ношу. Ради всех остальных.

Мы тянем!

Встаёт солнце. Вокруг нас нарастает свет. Начинается день.

Для нас же — вторая ночь.

Раздаётся сирена.

Мы погружаемся в лифт и мчимся вглубь.

15 сентября.

Мне хорошо только тогда, когда внизу стоит треск и грохот. Когда трещат балки и раскалываются камни. Когда рабочий шум ревёт так, что невозможно расслышать собственного слова.

Симфония труда!

Насыщенная, полная жизнь!

Творить! Созидать! Прикладывать руки!

Быть господином! Покорителем! Королём жизни!

Но тогда я вновь испытываю тоску по божественной уединённости гор и нетронутому первому снегу.

18 сентября.

Нас освобождает не дух и не труд. Оба они — лишь формы высокой власти.

В начале и в конце всего стоит борьба. Я начал борьбу с самим собой. Сначала мы должны подавить сволочь в самих себе. Тогда всё остальное окажется лёгким, как детская игра.

Из духа, труда и борьбы мы формируем мотор, который приведёт в движение нашу эпоху.

Она должна будет стать эпохой свершений новообразованной аристократии.

20 сентября.

Деньги — проклятье человечества. Оно в зародыше душит великое и доброе. Каждый пфенниг омыт потом и кровью.

Я ненавижу Маммону.

Он разводит вялость и пресыщенный покой. Он отравляет в нас ценное, низводит нас до положения обслуги обыкновенных инстинктов.

Худший день недели для меня — день выдачи оклада. Хоть швыряй эти деньги, как кости псам.

Этот мир тяжёл и жесток. Так же тяжелы деньги в холёных руках скупцов.

Экономия — липкая добродетель.

Копите богатства и деньги.

А я хочу расточать сокровищницу моей души.

Деньги — это мерило ценностей при либерализме. Это столь пустое учение, что оно возводит к сущности бытия купюры. На этом же оно недавно погибло. Деньги — проклятие труду.

Не нужно измерять деньгами жизнь. Там, где такое происходит, — иссякают все благородные силы.

Деньги — это средство к цели, а не самоцель. Явись они самоцелью, неизбежно обесценится как средство к цели и труд.

Оценивайся всё в народе деньгами, этот народ подступит к своему окончательному бесцветному финалу. Тогда он будет постепенно пожран разлагающей властью золота, которое с давних пор приговаривает к смерти народы и культуры.

В то время, как солдаты Великой войны отдавали жизни, защищая Родину, и два миллиона из них утонули в крови, знатные спекулянты чеканили золото. Это золото позднее послужило им в том, чтобы нагреть с жильём вернувшихся с войны солдат.

Таким образом, война выиграла деньги и проиграла труд. Выигравшие и проигравшие — вовсе не народы. Те лишь помогали делать деньги или же охранять труд.

Германия сражалась за труд. Франция — за деньги. Труд проиграл. Деньги победили. Деньги правят миром! Если честно, — вывод убийственный. Сегодня мы действительно погибаем. Деньги — еврей, это взаимосвязанные объект и субъект.

Деньги не имеют своих корней. Они занимают положение надо всеми расами. Они неторопливо въедаются в здоровые организмы народов и мало-помалу отравляют их творческие силы.

Через борьбу и труд мы должны освободиться от власти денег. Разрушить в себе самих самообман. И тогда однажды свергнуть золотого тельца.

Либерализм в своём глубочайшем смысле — это учение денег.

Либерализм означает, что я верю в Маммону.

Социализм означает, что я верю в труд.

25 сентября.

Когда я возвращаюсь с домой работы, там, в узких сенях, играют дети.

Я беру одного ребёнка за руку и веду к себе комнату. Дитя смущается и начинает плакать. Я дарю ему сверкающий камушек, который я нашёл в шахте.

Дитя проникается доверием и начинает резвиться в моей комнате.

«Как тебя звать?»

«Анна».

«Анна, какое у тебя красивое имя. Смотри, этот камушек я нашёл в шахте. Я принёс его тебе. Видишь, как он блестит? А если ты поднесёшь его на солнце, он станет ещё намного красивее, — тогда он заискрится, как алмаз».

«Мой папа тоже работает в шахте. Сейчас он уже лежит и спит».

«Да, твой папа и я — мы работаем в шахте».

«А все люди работают в шахтах?»

«Нет. Но работать должны все. Одни на земле, другие под землёй. Одни сеют и жнут зерно, чтобы у нас был хлеб, другие добывают из земли уголь, чтобы у нас были тепло и свет».

«А есть люди, которые не работают?»

«Да! Но если мы, рабочие, сплотимся, тогда мы покончим с лентяями. Кто не работает, тот не ест».

Пауза.

«Моя мама сидит в кухне и чистит картошку».

«Да, твоя мама тоже усердная. Любишь ты её?»

«Да, а вот папу не очень. Он меня бьёт».

«А твоя мама тебя не бьёт?»

«Нет, мама не бьёт. Мама хорошая».

Малышка хватает меня за руку и тянет в тесную, убогую кухню.

«Анна, не надо!»

«Оставьте малышку, она такая милая».

«Она будет Вам докучать».

«Нет».

Длительное молчание.

Нерешительно и в досаде на самого себя я возвращаюсь к себе в комнату.

28 сентября.

Я начинаю завоёвывать авторитет у моих товарищей.

То тут, то там ко мне обращаются. Некоторые посвящают меня в свои тревоги и нужды. Недоверие постепенно убывает.

Мои хозяева тоже стали ко мне дружелюбнее.

Сегодня после полудня я обнаружил у себя на столе в подарок несколько маленьких цветочков.

Как же я им обрадовался!

Дети, если я им попадаюсь, громко зовут меня по имени и все виснут у меня на руках.

3 октября.

«Ты губишь себя, Михаэль, ты не выдержишь. Ты погибнешь».

«Человек выдерживает больше, чем можно представить. Только не нужно себя беречь. В жизни нужно брать на себя много.

Ведь на войне мы достигли нашей жизнью и нашим упорством ещё большего и не погибли от этого».

«Но всё же наши души и тела серьёзно пострадали».

«Ты прав, Маттиас, что это не прошло с такой лёгкостью. Но, видишь ли, мы шли рука об руку — рабочий и господин.

Там, в траншеях, мы залегали друг подле друга — тот из дворца, а тот из горняцкой хижины. Мы прикрывали друг друга,

становились друзьями, впервые узнавали один другого.

А как только война закончилась, злосчастная пропасть снова разверзлась.

Труд — это война без пушек. Поэтому мы должны также оставаться друг подле друга, кулак и ум. Мы снова должны понять друг друга, чем раньше, тем лучше.

Жизнь тяжела. У нас нет времени враждовать друг с другом. Мы должны нести хлеб миллионам живущих и миллионам ещё не рождённых. Иначе мы придём в упадок, раньше или позже».

«Да, но наверху больше никто не считает так, как ты; там ценят только деньги и власть».

«Эти твари однажды должны быть низложены. Это люди, которым уважение внушит только кулак под нос. Другого отношения им не понять. Мы, молодые, имеем неоспоримое право перед историей.

Старики не желают признать то, что мы, молодые, вообще существуем. Они отстаивают свою власть до последнего вздоха.

Но однажды им придётся потесниться. В конечном счёте, должна победить молодёжь.

Мы, молодые, нападаем. Нападающий всегда сильнее защитника.

Если мы освободимся сами, мы сможем освободить и рабочее движение. А свободное рабочее движение сбросит цепи с Отечества».

«О труде и о войне ты сказал верно; и самое лучшее то, что свои слова ты сам претворяешь в дело.

Ты не пустобрёх, как другие. Ты действуешь.

Ещё когда ты сюда прибыл, когда я впервые тебя увидел, я понял, что ты — первопроходец трудовой идеи.

Ах, сейчас мы встречаем здесь стольких из высших учебных заведений. Все они прилежны и исполняют свой рабочий долг.

Но большинство из них не понимает нас, горняков. Они смотрят на нас свысока. Более того, они снисходят до нас. Между нами всегда остаётся некая отчуждённость. Отсюда это затаённое презрение между нами и белоручками.

Ты увидишь здесь много враждебного отношения к студентам. Но я знаю, что ты хочешь это улучшить. Ты не хочешь опуститься до нас, ты хочешь поднять нас до себя.

Ты верно схватываешь, потому что видишь в нас товарищей. Поэтому ты находишь и слово, которое отомкнёт наши сердца».

В штольне во время завтрака я стою на коленях подле Маттиаса Грютцера. Мы говорим с долгими перебоями, и нам приходится переходить на крик, чтобы расслышать друг друга.

9 октября.

Пассивное сопротивление.

Ничего больше не хочется давать людям. Но им не прожить на свой заработок.

Они стоят внизу в коридорах, спорят и бранятся. Здесь такая тишина, как в выходной день.

Ни единого удара.

Слышатся полные ненависти угрозы, анафемы, проклятия.

Моё положение в эти дни шатко. Мне открыто угрожают. В мои уши со всех сторон сыплются ругательства.

Меня принимают за провокатора и стачколома. Меня уже совершенно открыто называют проплаченным представителем капиталистов.

Меня поддерживает один Маттиас Грютцер.

Перед рудником скапливается многотысячная толпа. Крики и пение, летящие камни, грозящие в воздух сжатые кулаки.

Толпа клином выстроена перед зданием дирекции.

Внезапно раздаётся клич, окрик, команда. Дребезжат оконные стёкла, разрывается под ударами дверь, затем беспорядочная неразбериха. В дверь точно вкатывается широкий поток.

По лестнице спускается какая-то женщина с поднятыми руками и, крича, движется навстречу осаждающим. Она тут же падает под натиском разъярённой толпы, и ноги втаптывают её в землю.

Меня охватывают судороги, спазмы и мука.

Я бросаюсь вперёд, в отчаяние крича стоящим рядом: «Это же безумие!»

В ответ мне в дикой неразберихе: «Стачколом! Шпион! Продажная псина!»

Я чувствую удар по голове. По лбу и вискам течёт кровь. Я утираю её рукой. Крови всё больше.

Мои ноги подкашиваются.

Я падаю и теряю сознание.

Я просыпаюсь в собственной постели. Перед ней стоит Маттиас Грютцер и смотрит на меня.

Я чувствую молотьбу и нестерпимую боль в голове.

Я безгранично изможден.

Я начинаю бредить.

Сегодня мои мысли снова прояснились. Хотя бешеная картина того вечера всё ещё окутана для меня туманом.

Они хотели загнать меня, как зверя. Так не обращаются даже с собакой.

Просто загнать! А я хотел лишь вступиться за безоружную

женщину.

Я не чувствую ни гнева, ни озлобленности. Ведь они меня не знают. И им не были известны мои намерения.

Просто они так бедны и беспомощны.

Они сделали это от отчаяния.

Но всё же заноза в моей душе осталась.

25 октября.

Снова на шахте, как впервые!

Я встречаю добрые, дружелюбные лица. Все чутки, едва ли не нежны по отношению ко мне.

Ко мне подходит старый горняк и подаёт мне свою твёрдую руку.

«С возвращением!»

Как приятно это звучит! Привет и тем, кто в общей нужде держится друг за друга.

За меня работал Маттиас Грютцер. Он свободен от предрассудков. Я благодарен ему за это. Во время завтрака ко мне подходит кто-то из товарищей. Он идёт по просьбе другого и просит у меня прощения. Я смущаюсь. Я не знаю, что мне ответить.

Маттиас Грютцер стоит подле меня.

И вдруг я чувствую, как мои глаза влажнеют и две крупные слезы скатываются по моим щекам.

Да, теперь мы обрели друг друга. Теперь я один из вас.

Отныне я здесь не чужак, не гость, которого никто не звал.

Рабочий среди рабочих!

Я тот, кем хотел стать!

Я один из вас; я завоевал право стать для вас своим.

Благословенное ранение!

30 октября.

Я снова натыкаюсь на Винсента ван Гога. Сегодня иначе, чем тогда в Мюнхене. Теперь я вижу не художника, а человека, богоискателя.

С заработка я купил себе его трогательные письма к брату Тео.

Человек больше, нежели просто деятель искусства.

Старые святилища должны быть разрушены, чтобы мы смогли построить новые!

2 ноября.

Я снова возвращаюсь ко Христу.

Германский вопрос о Боге неотделим от Христа.

Мы утратили нашу личную связь с Богом. Мы ни холодны, ни горячи. Наполовину христиане, наполовину идолопоклонники. Да, даже наилучшие ощупью бьются во тьме — и ни туда, ни сюда.

А то, что здесь необходимо — это говорить искренне. Народ без религии — всё равно, что человек без дыхания.

Конфессионализм выбыл из строя. Выбыл совершенно. Он больше не возглавляет фронт, но уже давно вытеснен в тыл. Оттуда он со всем своим презрением терроризирует любое образование новой религиозной воли. Её ожидают миллионы, а их тяга остаётся несбывшейся.

Не приспело ли наше время? Как бы хотелось в это верить.

Однажды мы тоже проснёмся в религиозном величии.

До этого пусть каждый ищет Бога на свой лад.

Но широкие массы пусть остаются при своих идолах, пока им не возвестят нового Бога.

Я беру Библию и весь вечер читаю обыкновеннейшую, но величайшую проповедь из тех, что когда-либо получало человечество: Нагорную Проповедь!

«Блажени изгнани правды ради: яко тех есть Царствие Небесное!»[15]

6 ноября.

Мои товарищи меня любят. Они помогают мне так, будто читают у меня в глазах любое моё пожелание.

Один чинит мне мои ботинки, я приношу ему дублёную кожу, а он не хочет ничего брать за работу.

Другой носит к себе домой стирать мою рабочую одежду.

Ещё один приносит мне поутру два больших, красных яблока. «У меня много!» — говорит он.

Следующий подходит ко мне и спрашивает, что за человек был Ницше.

Они помогают мне, я помогаю им.

Я живу как товарищ среди этих простых, скромных, сильных людей. Они полностью загнаны и отравлены. Но теперь яд полностью вышел. Теперь они лишь прилагают усилия к труду.

Все обращаются ко мне на «ты», ко всем обращаюсь на «ты» и я. Как раньше в поле или в окопе. Я чувствую себя в шахте, как

дома.

Таким однажды должно стать всё Отечество. Не все равны, а все братья.

Вечером я сижу вместе с людьми. Тогда мы общаемся, диспутируем, спорим, ругаемся. Я ругаюсь с ними от всего сердца.

Иногда человеку нужно выругаться, чтобы высказать лежащую на душе злость.

Я посещаю их в семьях, играю с детьми, болтаю с женщинами.

Я рассказываю им о своих путешествиях, показываю им открытки и картинки.

Когда я иду по улице, ко мне подходят дети и хватают меня за руку.

10 ноября.

Теперь у меня много братьев. Они все мне как братья.

Братья по труду! Братья — это все, кто происходит от одной крови и несёт общую судьбу.

А мы, конечно же, несём всё сообща, мы, германцы. Отчего ж нам не быть братьями?

Мы вынесли сообща столько нужд, что больше мы неотделимы друг от друга.

Я сам — не больше и не меньше, чем все остальные.

Юный германец! Борец, страдалец, который желает победить!

Мы должны объединиться, мы, германцы!

Ради нашего конечного блага!

Если нам удастся представить другим народам новый германский тип, тогда грядущее тысячелетие пройдёт под нашим знаком.

16 ноября.

Теперь я совершенно свободен!

Во мне свершается чудо: открывается новый мир.

Теперь путь открыт. Я проложил его с помощью труда.

Однажды мы все должны будем освободиться с помощью труда, сначала сами, затем и другие.

Преодолевая собственную жизнь, мы обретём силу, необходимую для того, чтобы сделать жизнь возможной в дальнейшем.

23 ноября.

Я искал и не нашёл пути в области духа.

Мы должны преодолеть дух.

Я искал и не нашёл пути в труде.

Мы должны осветлить труд.

И теперь загадка разрешается сама собой.

Возникает новый закон.

Закон труда, означающего борьбу, и духа, который есть труд. Синтез этих трёх элементов сделает нас свободными внутренне и внешне.

Труд как борьба, дух как труд — вот в чём кроется спасение!

Мои глаза видят ясно! Путь свободен!

Час рождения во мне!

Мои отяжелевшие руки начинают дрожать.

29 ноября.

Я прижал Ивана Войнаровского к земле: в нём я преодолел русского человека.

Я освободил самого себя: освободил в себе германского человека.

Теперь мы оба стоим, как непримиримые соперники один против другого.

Вооружённые до зубов, ибо на кон поставлено всё!

Кто завоюет будущее?

Панславизм! Пангерманизм!

Нет, я не отступлю. Я верю в нас, в Германию!

Из боли возникнет империя!

Сегодня мир имеет причину презирать разыгрываемую за границей Германию.

Но вот мы! Мы, юноши, живущие и готовые скрестить оружие во имя будущего со всеми врагами нашей самобытности!

Когда мы снова обретём себя, тогда перед нами содрогнётся мир.

Земной шар будет принадлежать тому, кто возьмёт его себе!

Моё время здесь подходит к концу. Я выучился.

Завтра я уезжаю в баварские рудники.

Что гонит меня дальше? Я не знаю.

Может быть, меня притягивает горное уединение.

Я со всеми прощаюсь. Я никогда не встречал столько любви и преданности.

Вы втоптали меня в землю, а теперь вы мои друзья.

Я никогда вас не забуду!

10 декабря.

Я стал старше на двадцать лет? Я спал, грезил? Я больше не узнаю моего Мюнхена?

Вот вокзал, «Чудак»[1], Мариенплац, церковь святой Фатины, вслед за которой широкая, помпезная Людвигштрассе. Здесь расположен Швабинг, как год назад, и всё остальное.

Это я полностью изменился. Стало иначе настроено моё зрение.

Я слышу родную мюнхенскую речь. Проходят юноша с девушкой из Швабинга.

Из университета выходят студенты и студентки с картами и книгами под мышками.

Большая их часть выглядит худыми, бледными и серьёзными.

Неужто раньше я этого не замечал?

Отметина на лбу германского народа?

Голодная, холодная, бедствующая молодёжь.

Вечером я сижу в большом зале среди тысячи людей и снова смотрю на того, кто однажды меня пробудил.

Теперь он находится уже среди лиц, испытывающих к нему доверие.

Я почти не узнаю его. Его поведение величественнее, сосредоточеннее. Собраннее сходит полнота силы с его уст, его рук, и это море света, что, сверкая, струится из двух голубых звёзд.

Я сижу в кругу всех остальных, но чувствую, будто он обращается ко мне одному.

Он благословляет труд! То, что меня научили чувствовать страдания и бремя, он выражает здесь в словах. Моё вероисповедание! Здесь оно обретает облик.

Труд как спаситель! Не деньги — труд и борьба делают нас свободными, тебя и меня, нас всех, а все мы в совокупности — Отечество.

Какое глубокое умиротворение овладевает мной. Я чувствую, точно мою душу, бурля, пронизывает море сил.

Здесь встаёт ото сна молодая Германия, рабочий люд, кующий империю. Пока что есть наковальня, но однажды будет и молот!

Моё место тут!

Если борьба идёт не на жизнь, а на смерть, то я хочу быть здесь.

Мы все должны достичь полного развития. Меньшинство побеждает лишь в том случае, если оно качественнее большинства.

Вокруг меня сидят люди, которых я ни разу не видел, и я, как ребёнок, стыжусь того, что на мои глаза украдкой набегают слёзы.

12 декабря.

«На прошлой неделе я получила письмо от Герты Хольк. Она теперь учится в Вюрцбурге и готовится к экзаменам».

«Отчего Вы говорите мне об этом, Агнес Шталь?»

«Потому что я догадываюсь, что Вы ещё не забыли об этой женщине».

«Ну да».

Мне давалось это с боем, но получилось начать забывать.

Работа там, в подземной шахте, делает всё остальное таким мелким. Почти забываешь о самом себе.

Я очень любил Герту Хольк. Я люблю её теперь, и буду любить её вечно. Но всё же она не стала мне соратницей, которая во всём выстояла бы до конца. Мне кажется, такого не найти никогда.

В конечном итоге, соратниками самим себе должны оставаться мы сами.

У Герты Хольк наличествовал порыв к новизне, но её всё ещё сковывали мелкие предрассудки, устаревшие взгляды, короче говоря, вышедшее из моды бюргерство. У неё не хватило мужества быть последовательной.

Его было так мало!

Она — переходное существо. Она заключает компромиссы, она ценит душевный лад выше, чем борьбу и перспективу победы или поражения.

Она не смогла ждать.

У неё не нашлось для меня времени.

«Вы к ней несправедливы».

«Нет, я не сержусь на неё. Я теперь всё понимаю. Она стала частью моей судьбы, предоставившей мне место в шаге от пропасти.

Мы должны благодарить людей, открывающих нам возможность жертвовать».

Пауза.

«А теперь Вы снова намереваетесь в шахту?»

«Да, там, под землёй, я счастлив и чувствую, что я многим

там на пользу».

Художественная мастерская голая и пустая. Сквозь высокое окно вкрадывается последний луч сумерек.

Здесь я часто сиживал с Гертой Хольк.

13 декабря.

Я наношу визит Рихарду.

Он получил учёную степень доктора в Гейдельберге и теперь работает в одном крупном книгоиздательстве.

Он рассказывает обо всём без разбора. О новом искусстве и о душевной выразительности.

Я слушаю его без внимания. Он очень изменился. Я отмечу, какие перемены я заметил в нём. Его лицо пополнело, а на носу у него — придающие солидности очки в роговой оправе. Его движения самоуверенны. Но это же заставляет меня думать, будто он чего-то стыдится передо мной.

Вскоре я прощаюсь с ним.

Он называет меня «дорогой Михаэль» и провожает до дома. «Ну что ж, всего доброго!» — говорит он мне потом ещё раз.

Я долго иду вниз по улице.

Вдруг он догоняет меня, хватает за руку и чрезвычайно взволнованно шепчет мне:

«Михаэль, я завидую тебе. Я — мерзавец».

Вся антипатия между мной и им мгновенно рассеивается. Я крепко жму его руку.

Мы расходимся.

15 декабря.

В Старой Пинакотеке я встречаю одного русского студента. От него я узнаю поразительное известие о смерти Войнаровского.

В июле он уехал в Россию. В Петербурге он посвятил себя тайной революционной деятельности, основал особую группу и замыслил небольшой заговор. Судя по наблюдениям, в сентябре он был арестован. После двухнедельного заключения он снова был отпущен, так как доказать его вину не удалось. В начале ноября его имя множество раз промелькнуло в газетах. Он лихорадочно работал над разоблачением крупного общественного коррупционного скандала.

Ранним утром 23 ноября он был обнаружен в своей комнате на диване застреленным. Все приметы указывали на то, что это

было убийство.

Говорят, следы преступников не найдены до сих пор.

Во мне дёргается струна.

Иван Войнаровский! Ты не довершил своего дела до конца.

Я думаю о тебе с нескрываемой печалью.

Твоя судьба — это судьба твоего народа.

Застрелен! Следы преступников не найдены до сих пор.

18 декабря.

Последний день в Мюнхене я вместе с Агнес Шталь. Мне надо многое ей сказать.

Я чувствую, что она меня понимает.

Однажды мне нужно было излить кому-нибудь всю мою душу.

Всё ж, это могла бы понять только женщина.

Теперь я выговорился.

Как подвёл черту.

3 января.

Я работаю в руднике при Шлирзее. Здесь я нашёл то, что требовалось.

Горы вдохновляют меня на труд.

Мне нравится обращать на них взор.

Работа даётся мне не слишком тяжело. Я крепок и здоров.

Мои товарищи со мной ладят.

Я живу у мелких крестьян.

Здешний край дышит силой и красотой.

Горы стоят непоколебимо.

Люди и времена стареют и умирают.

Но горы остаются всё теми же.

Вечно старыми и вечно молодыми.

7 января.

Война пробудила меня от глубокого сна. Она сделала меня сознательным.

Дух истерзал меня и довёл до катастрофы; он показал мне бездны и высоты.

Труд меня освободил. Он сделал меня гордым и свободным.

И теперь, под воздействием этих трёх элементов, я

сформировался заново.

Я стал сознательным, гордым и свободным германцем, который желает завоевать будущее!

Христос дал мне многое — но не всё.

Мы должны пробудить Его в себе заново.

Мы сможем сделать это лишь при наличии собственной осознанной силы.

Отдельная жизнь — это ещё не всё. Это не вещь в себе.

Мы должны обуздывать её и наращивать новые, плодотворные силы.

До тех пор пока человек цепляется за жизнь, он не свободен.

10 января.

Меня влечёт к новым далям и просторам, но моя любовь каждый раз возвращается к родной матери земле.

18 января.

«Милая мама! Теперь худшее позади. Я свободен. Я преодолел то, что терзало меня и угнетало, то, что прижимало меня к земле. Теперь крыла простёрты, и я расправляю их для полёта в синие просторы.

Я благодарен Тебе за то, что Ты даровала мне жизнь. Можешь ли Ты понять, что временами я сердился на Тебя за это?

Жизнь ценна тогда, когда она проживается. Не правда то, что говорят истомлённые и пожилые. Мы в этом мире не для того, чтобы страдать и умирать.

Мы поставлены здесь, чтобы исполнить нашу миссию.

Один чувствует влечение к этой миссии сильнее, другие — слабее.

Во мне оно горело жертвенным огнём. Я должен был поступать так, как я это делал.

Теперь, хотя я и победил, я тоскую, желая снова увидеть Твоё возлюбленное лицо.

Должен ли ввергать нас в уныние вопрос о том, что сулит будущее? Напротив, я вижу его твёрдым и стабильным.

Я чувствую себя достаточно сильным для того, чтобы продолжать борьбу. Мы стали мужчинами так рано, потому что за наши юные годы увидели и перенесли больше, чем какое-либо другое поколение.

Нам бывало плохо? Но мы перебивались и перебьёмся впредь.

Цена борьбы — кровь. Но каждая капля крови — это семя.

На Земле ничто не случается впустую. Всё имеет начало, продолжение или же конец».

29 января.

Сегодня вечером моя хозяйка с плачем входит ко мне в комнату и умоляет меня не ходить с утра в шахту. Ей приснилось во сне, будто я погибну от удара камнем.

Я прилагаю усилия, чтобы её успокоить.

Сны — лгуны!

Но я всё ещё не могу об этом позабыть.

Но разве в шахте мы не стоим со смертью всегда лицом к лицу?

Пока что я не хочу умирать!

Мы все должны принести жертву!

Здесь заканчивается дневник Михаэля.

Практикант горного дела Александр Нойманн пишет фрейлейн Герте Хольк в Вюрцбург за датой 26 февраля:

«Только теперь, по просьбе фрейлейн Агнес Шталь, я могу исполнить Ваше явное желание и поведать Вам более подробные обстоятельства такой внезапной и поразительной смерти Михаэля.

Михаэль прибыл к нам на Шлирзее в конце прошлого года для того чтобы работать здесь на руднике. Он жил совсем неподалёку от меня, и случай вкупе со взаимным расположением вскоре сделал нас верными товарищами. Я бы сказал, почти друзьями. Вы, наверное, сами знаете, как быстро такие простые, но при этом великие люди проникаются любовью.

Утром злосчастного дня, 30 января, мы, как обычно, вместе шли на работу. Путь от нашего жилья до рудника не долог, — занимает приблизительно полчаса.

Было пять часов утра, а рабочая смена начиналась в шесть. Утро было колюще холодное, зябкое, и мы шли по высокому снегу.

Михаэль был серьёзен и молчалив.

Он не шутил, как обычно по дороге, и спешил приступить к работе.

Внезапно он остановился и спросил меня:

«Ты не испытываешь никакого предчувствия? У меня есть такое ощущение, что надо бы повернуть обратно».

Затем он громко расхохотался:

«Да ну, сны — лгуны!»

Незадолго до шести часов мы въехали. Я работал подле него в одной узкой штольне. Мы лежали на спинах и сшибали уголь. Один раз он сказал мне что-то, чего я не разобрал. К десяти часам я перешёл в новую штольню, чтобы позавтракать. Он хотел довести до конца начатую работу.

Вдруг я слышу, как что-то сыплется, потом что-то разламывается, затем краткий, но сильный щелчок. Я кидаюсь в штольню. Там на земле лежит Михаэль. Я подношу к его лицу фонарь. Его глаза сомкнуты. Я чувствую, что его сердце ещё бьётся, и он ещё дышит.

Я подзываю одного товарища, и мы выносим его наверх. На короткое время он открывает глаза и бормочет что-то, чего мы не можем разобрать. Рудниковый врач уже тотчас на месте.

Упавший камень ударил Михаэля по голове, явившись причиной кровоизлияния в мозг. Ещё пару часов он был жив.

Мы несём его в близлежащий дом и укладываем на постель. Он спокоен, почти не волнуется и только иногда шепчет: «Я устал, я хочу спать».

Так он лежит долго, два, три часа. К полудню он начинает моргать глазами и смотрит на нас удивлённо и как-то отчуждённо. Громко и отчётливо он произносит: «Мама!»

И затем начинается агония.

Он бьётся в лихорадочном бреду. Как будто бы он сражается с невидимым врагом. Затем он в припадке кричит:

«Иван, ты подонок!»

Вдруг совсем едва слышно: «Рабочий!»

А потом он принимается шептать. Теперь мы больше не различаем почти ни слова. Сплошь обрывки фраз. Я разобрал: «жертвовать», «труд, война!»

Наконец он полностью успокаивается. Его лицо озаряется улыбкой, и с этой улыбкой он умирает.

Четыре часа пополудни.

Он перенесён в свою комнату для прощания. Его лицо вовсе не искажено. Только на носу видна запёкшаяся кровь.

Так он лежит в цветах и в венках.

На третий день приезжает его мать, которую я уведомил по телеграфу. Она сдержана, как я и предполагал.

На четвёртый день мы проводили его в последний путь. Это был ясный, морозный зимний полдень.

Его последними провожатыми стали несколько студентов из Мюнхена, пара молодых художников и Агнес Шталь, швейцарская скульпторша. Несли его горняки. Он был похоронен как рабочий, студент и солдат. Его товарищи пропели на его могиле «Вечную память»[16].

На его столе после его смерти нашлась не дописанная до конца открытка горному мастеру Маттиасу Грютцеру в Гельзенкирхен. Он пишет там о том, что первопроходцы идеи новой империи есть, и что нам не следует отчаиваться. В его выдвижном ящике лежали «Фауст», Библия, «Заратустра» Ницше и дневник.

Теперь Вам известно обо всём.

Я оставил без упоминания лишь одно. То, что, в некотором смысле, позволило мне постичь судьбу нашего общего друга и, кроме горя и боли, увидеть в его смерти нечто Вещее и Символическое. Пару недель назад мать Михаэля пристала мне на память его «Заратустру». Это старый, потёртый экземпляр. В его ранце он прошёл с ним вместе всю войну. Вечером я целый час с радостью пролистывал его.

И там я набрёл на место, которое Михаэль дважды подчеркнул красным грифелем:

«Многие умирают слишком поздно, а иные — слишком рано.

Пока ещё странным покажется учение: «Умри вовремя!»»

Приложение I
Критики и биографы о художественно-литературной деятельности и романе «Михаэль» И. Геббельса

№ 1

DER SPIEGEL 23/1975 («Зеркало» 23/1975).

Рубрика «ТЕАТР».

Женщина любит орла

В своём автобиографическом романе «Михаэль» в 1923 году Геббельс видел себя «христианским социалистом» и «спасителем». Теперь одна берлинская труппа поставила этот забытый текст на сцене.

Он был калекой, едва достигал по весу 100 фунтов, никогда не нюхал пороха, однако же вспоминал о войне с ностальгией:

«Подо мной больше не фыркает чистопородный жеребец, я больше ни сижу на орудийной скамье, ни ступаю по глинистому илу заброшенных траншей».

Он был доктором философии, учился на примерах германской высокой поэтической культуры у профессора Гундольфа в Гейдельберге и писал в духе Курта Малера:

«Настоящая женщина любит орла». Или: «Женщина без грации — всё равно, что дом без входа». Либо: «Я целую Герту Хольк в её податливые восторженные уста; и мы оба пристыжены».

Но когда двадцатишестилетний доктор Йозеф Геббельс предвосхищает будущее, он до жути правдив: «Когда мы снова обретём себя, тогда перед нами содрогнётся мир».

В 1923 году неимущий и безработный Геббельс сочинил сильный автобиографический роман-исповедь. Он озаглавил этот «памятник германской страсти» «Михаэль — германская судьба в дневниковых листках». Теперь его можно увидеть в форме пьесы.

В уютном зале западноберлинского «Малого театра», где также предусмотрена возможность выпить, франко-швейцарский

режиссёр-постановщик Пьер Бадан, 31 год, поставил этот образчик раннего творчества как простую инсценировку — с целью «выявить мистические, сексуальные, империалистические корни» будущего демона пропаганды.

Бадан, называющий самого себя «специалистом по «литературным отбросам»», вовсе не желал «погрузиться в НС-ностальгию». Геббельсовская участь едва ли способна наполнить коричневыми реликвиями страждущие руки.

«Этот Швабинг однажды следовало бы прокадить» — требует Геббельс-Михаэль. Или: «Чужеземное отребье следует отодвинуть прочь от германского искусства». Либо: «Еврей и в самом деле отвратен мне физически». А там, где маленький доктор не ожесточён, он становится напыщенным: он горит желанием «освободить», «проложить путь в иное будущее» Отечеству, а иногда «Я надеваю свой шлем, достаю свою шпагу и декламирую Лилиенкрона. Порой мной овладевает такой приступ».

Влияние на роман другой литературы: Геббельс беспорядочно прикасается к Достоевскому и, прежде всего, к Ницше. Но также в ранце Михаэль носит «Фауста» и Библию. Так как он верит в сплав из антисемитского Христа и антимарксистского социализма: «христианский социализм».

Бывший солдат Михаэль, испытав отвращение к «республике» и потеряв свою возлюбленную Герту Хольк, в конце концов, становится «солдатом труда» и в качестве горняка отправляется работать в шахту. Там он находит смерть от удара камнем, о чём мир впервые узнал спустя шесть лет.

Это объясняется тем, что склонный к стихотворчеству доктор, прежде чем он не стал НС-паладином, не мог найти издателя. Сначала партийное издательство Франца Эхера в 1929 году напечатало программное произведение в национальном готическом шрифте. Как предполагают биографы, Геббельс заново отредактировал печатное издание. Чтобы стать вассалом Гитлера, он в сюжете помещает своего Михаэля на мюнхенское собрание в 1922 году, где с тем случается чудо;

Там вещает некий «пророк», который «перекатывает булыжник за булыжником для собора будущего», его «голубые звёзды глаз встречают меня, излучая пламя», и теперь помнит «только, как в хлопке моя рука соединилась с рукой кого-то другого».

Незаретутированным остался только прообраз прежней возлюбленной Михаэля. Которую Геббельс, уже в качестве НС-гауляйтера, мог определить на редакторский пост. Отказавшись от этого предложения, она напомнила ему об экземпляре «Книги песен» Гейне, которую когда-то, подписав высокопарными

строками Геббельс, посвятил ей.

Перевод с нем. яз. — наш.

Ганс-Михаэль Квекбер в роли Геббельсовского героя Михаэля

№ 2. Чувство места

Рецензия на: Йозеф Геббельс, Михаэль, роман. Amok Press, Нью-Йорк, 1987.

«Михаэль» — это полуавтобиографический роман в форме дневника, вышедший впервые в 20-х годах и написанный

человеком, которому тоже было слегка за 20. Он имел диплом литературного института, но вскоре оставил поприще ради карьеры политического публициста. Книга очень явно написана молодым человеком, и, как роман, не особенно хороша. В языке силы больше, чем свежести. Кто знает, Геббельс мог бы счесть это комплиментом. Не считая определённой, хотя и ограниченной ценности как документа эпохи, ранее недоступного в английском переводе, книга интересна своим подозрительно современным масс-медийным чутьём. Но про это — чуть ниже.

Михаэль, ветеран первой мировой войны, начинает дневник, будучи гейдельбергским студентом. Заканчивается всё его смертью в результате аварии на руднике — после того, как, отбросив роль интеллектуала, герой бросается в адскую действительность жизни немецкого пролетариата, чтобы лучше, даже и в буквальном смысле, ощутить «твёрдую почву родины». Сюжет, на первый взгляд, — набор банальных стереотипов. Мечтательный студент, переживший вещи, перед которыми пасует интеллектуализм, теряет интерес к лекциям. Но обретает интерес к небу вокруг, к лесу, к озеру — и к подруге-студентке Херте Хольк, чьи глаза — «серовато-зелёные вместилища тайн».

Михаэль сочиняет эпическую драму о жизни Христа, где христианский Бог показан как «Бог силы. Он ненавидит дым ладана и бесчестие ползущих толп». По мере того, как Михаэль осознает своё предназначение, Херта остаётся за бортом — не исключено, что к обоюдной радости. Михаэль пишет: «Я целую Херту Хольк в её мягкий, мечтательный рот; оба мы смущены». И всё. Не то, чтобы Михаэль был неспособен на эмоциональный контакт: но он немецкий романтик. Летом, на острове в северном море, его «лучшим другом» становится юноша по имени Густав Адольф. Густав, судя по всему весьма пораженный формами Михаэля, впоследствии пишет ему: «Ты всё ещё такой же загорелый, как был?»

Глубинная страсть Михаэля — это политика. Как социалист, он видит борьбу между трудом и деньгами — но не борьбу за деньги: это был бы марксизм, «доктрина денег и животов», в которой «человек рассматривается как машина». Здесь Геббельс предвосхищает романтизм Новых Левых, их неприязнь к отчуждённому труду и отчуждённой культуре. И это не единственный современный мотив у романиста времён Веймарской республики. Михаэль замечает: «Во мне поднимается крестьянская кровь» — как многие феминистки и энвайронменталисты, он отождествляет социальное спасение с возобновлением связи с природой. Хотя конкретные роли, которые Михаэль отводит женскому полу, сегодня вызвали бы

разногласия, но, как и современные радикальные феминистки, он постулирует фундаментальную дихотомию мужского и женского восприятия.

Но прежде всего, Михаэль выведен как человек своего времени — и нашего времени — в том, как он утверждает центральную роль труда, главной отличительной черты человека. «Труд приносит свободу» — не один раз произносит он. Сам Михаэль достигает спасения, жертвуя всем и погибая в конце концов в руднике. Трудясь в поте лица в чреве матери-сырой-земли, он понимает глубинные истины, недоступные рациональному восприятию: «Дом! Земля! Мать!» Его социализм — это принесение себя в жертву ради своего народа: «мы, современные немцы, похожи на социалистов Христа». «Труд есть война!» — восторженно добавляет он; это призыв к величию.

Для современного читателя, почти намеренно банальный словарь Геббельса — вызов даже больший, чем бесцветный сюжет. Кажется, что Геббельс специально выбирает самые забитые фразы — «белый, как снег», «тяжкое бремя труда» — как будто мало вложенной в уста Михаэля напыщенной безвкусицы («Искусство — это не только способности, это ещё и борьба»), которую невозможно принять всерьёз. (Точно так же, некоторые абзацы, по современным стандартам доказуемо антисемитские, надо понимать как дурно выбранные метафоры и как дань предрассудкам того времени — подобно аналогичным вульгарностям, высказанным Марксом за 70 или 80 лет до того. Геббельс, как и Маркс — человек своего времени и своего места. Как и все мы).

Но это не случайная неуклюжесть, это зарождающееся искусство. Геббельс сознательно избегает любой свежести, оригинальности в метафорах и сравнениях. Его цель — на загадывать загадки для космополитов, а побуждать к действию обычного человека. Как полагает Михаэль, «стиль — это всё!» Геббельс, несмотря на некоторую неоспоримую литературную посредственность, говорит языком масс — языком коротких, рубленых предложений, ещё более коротких словосочетаний, обычно усиленных барочной пунктуацией, и приукрашенных общих мест. В самом начале Михаэль жалуется: «Мы, немцы, слишком много думаем». Геббельс предлагает решение этой проблемы: или действительно популярный, или просто популистский дискурс, занимающий, как современные бестселлеры и видеоклипы, место на самом верху низовой культуры.

И в самом деле, спустя 70 лет Геббельс кажется современным не столько из-за того, что он говорит (хотя он и озвучивает

многие современные темы), сколько из-за того, как он это говорит. Он — человек для масс-медиа; его роман не влезает в смирительную рубашку печатной книги. Чутьё Геббельса требует света, музыки, публичного зрелища. Вскоре, с приходом кино, радио и телевидения, для его целей появятся средства. Беспомощные в качестве литературы, образы и клише, движущие роман «Михаэль», могли бы оказать глубочайшее действие на газеты, журналы, кино, радио, на весь аппарат современной индустрии сознания. Имей он в руках современные кинематические и вещательные технологии, кто знает, чего Геббельс мог бы достичь?

Боб Блэк

№ 3

«Ещё в 1919 г. он начал писать роман, надеялся пробиться, стать писателем. «Я пишу кровью сердца свою собственную историю — «Михаэль». Рассказываю все наши страдания без прикрас, так, как я это вижу. У меня расстроены нервы, я в отчаянии».

«Вперёд! Вперёд! Я хочу быть героем!» — восклицает Михаэль-Геббельс. «Я живу надеждой, что мой «Михаэль» получит приз кёльнской газеты. В Италию! О Боже! В Италию!» (15. 7. 1924).

Но печальный итог: «Я посылаю «Михаэля» от одного издателя к другому. Никто не берёт… Это всё мировая история, в которой мы живём. Что скажут внуки о нашем времени? Молчи и надейся!»

Роман не оценён, Геббельс относит это за счёт пороков времени, которому ещё предстоит отчитаться за это перед потомками.

Спустя годы, став видным нацистом, Геббельс, переработав рукопись, выпустил «Михаэля» в нацистском же издательстве. К старому мюнхенскому изданию «Майн Кампф» <…> приложен рекламный список вышедших книг, где под рубрикой «Художественная литература» значится также и «Михаэль. Одна немецкая судьба, страницы дневника. Роман д-ра Йозефа Геббельса».

Его проза была совершенно антихудожественна, пишет известный современный немецкий писатель Рудольф Хоххут, патетична, как передовица, неостроумна, скучна. Публицист Хайнц Поль писал в 1931 году в «Вельтбюне» о «Михаэле», что это, в сущности, манифест коричневорубашечников о том, что

они называли «немецким духом и немецкой душой». Ни в языке, ни в стиле, пишет Поль, он не обнаружил ничего немецкого, ни в одной фразе. «Но что я нашёл — и каждое третье слово тому подтверждение — это абсолютно не немецкое, насквозь патологическое бесстыдство, с которым закипает в его (Геббелъса) душе и наконец изливается наружу графоманская мерзость».

Тогда Геббельс потерпел сокрушительную неудачу — «Михаэль» был его главной ставкой. Он — несостоявшийся писатель, и интересы его всё больше смещаются в сторону политики: «Если бы сегодня разразилась революция, я был бы способен выйти с пистолетом на баррикады. Творческие проблемы меня не трогают» (30. 7. 1924). Однако на другой день он записывает: «Тоска, пустота, утрата мужества, отчаяние, ни веры, ни надежды. Я вчера читал, что Вагнер в течение пяти лет не сочинил ни строчки. Разве здесь нет сходства?»»

Е. М. Ржевская

«Геббельс. Портрет на фоне дневника», Изд-во советско-британского совместного предприятия.
СЛОВО/SLOVO, М., 1994, с. 29–30

№ 4

«В Гейдельберге Геббельс посещал лекции известного профессора, историка германской литературы Фридриха Гундольфа, автора блестяще написанной биографии Гёте (и еврея по происхождению) и пытался с его помощью проникнуть в кружок друзей и избранных почитателей поэта Стефана Георге. Но Гундольф не любил Геббельса, и тот так и не попал в число посвящённых в тайны поэзии. Интересно, что современник, а в дальнейшем — враг Геббельса, Клаус фон Штауфенберг сумел преуспеть там, где Геббельс потерпел неудачу. Так что человек, совершивший в июле 1944 года покушение на Гитлера, в молодости имел удовольствие близко познакомиться со Стефаном Георге. Во время войны Штауфенберг часто цитировал талантливую поэму С. Георге «Анти-Иисус», позволявшую ему выразить свою ненависть к тирании Гитлера и к нашествию «коричневой чумы».

<…>.

В Гейдельберге Йозеф Геббельс получил степень доктора философии, защитив диссертацию по теме о творчестве Вильгельма Шютце, второстепенного германского драматурга, представителя романтической школы. Диссертация имела

подзаголовок «К вопросу об истории романтической драмы». Позже, став министром, Геббельс не поленился взять диссертацию из университетского архива и дать ей новое название: «Интеллектуальные и политические тенденции развития раннего романтизма». Ему очень хотелось подчеркнуть, что он давно интересовался политикой, ещё после окончания университета, но на самом деле это было не так. Изучив в университете множество наук: философию, историю, германскую литературу и историю искусств, — он так и не решил для себя в то время, чем же он будет заниматься, и только позднее начал сознавать, что его главный талант — не в изучении наук, а в политике и в ораторском искусстве. Университеты дали пищу его неугомонному уму, но не открыли возможностей для приложения его особых талантов и амбиций.

<…>.

Во время учёбы в Бонне Геббельс вступил в «Юнитас фербанд» — студенческую католическую организацию, члены которой должны были регулярно посещать церковные службы и вести примерную жизнь. Но строгие моральные принципы этой организации, видимо, показались Геббельсу слишком обременительными, особенно после исключения из её рядов его друга, осмелившегося выразить несогласие с ограничениями его личной свободы, и Геббельс покинул этот союз вскоре после окончания войны. После этого он надолго разочаровался в католической вере, вызвав этим испуг и смятение у своего отца, обратившегося к Йозефу с письмом, полным горячих увещеваний. На некоторое время Геббельса увлекли идеи религиозного идеализма, довольно туманного учения, по-разному толковавшегося его сторонниками. В духе его концепций написан автобиографический роман Геббельса «Михаэль» — запутанное и неясное произведение, к которому, однако, сам автор относился с душевным трепетом. Там говорилось: «Человек без религии — то же, что живое существо, не способное дышать». Герой романа, Михаэль — не кто иной, как Фауст 20-го века[17]; он пишет пьесу об Иисусе и Нагорной Проповеди, которую называет «величайшим откровением, преподанным человечеству». (Книга называлась «Михаэль, или жизнь молодого германца, рассказанная в его дневниках» и была издана в Мюнхене в 1929 году; она была написана в 1921 году, вскоре после окончания Геббельсом учёбы в университете. Он предлагал её нескольким издательствам, в том числе и еврейской фирме «Улыптейн и Моссе», но безуспешно, и только позднее её опубликовало нацистское издательство «Франц Эгер»).

Подобно другу Геббельса Ричарду Флисгесу, познакомившему

его с трудами Маркса, Энгельса и Вальтера Ратенау, Михаэль, герой романа, погибает от несчастного случая, произошедшего в шахте. После гибели среди его вещей нашли книги: Библию, «Фауста» Гёте и сочинение Ницше о Заратустре. Михаэль (а с ним и сам Геббельс) противопоставлял Маркса Иисусу Христу: по его мнению, если Христос был воплощением любви, то Маркс стал воплощением ненависти. «Борьба, которую мы должны вести до победы (во всяком случае — до конца) — это борьба, в самом глубоком смысле, между учениями Христа и Маркса», — писал молодой Геббельс в дневнике.

<…>.

Антилиберальные взгляды Геббельса тоже нашли выражение в романе «Михаэль», герой которого заявляет: «Либерализм — это вера в деньги, а социализм — это вера в труд!» Подобно Ницше, Геббельс верил в диктатуру Силы и Решительности: «Всегда будет править меньшинство, оставляя толпе только один выбор: жить под властью диктатуры смелых или вырождаться при демократии трусов».

Е. Брамштедте, Г. Френкель, Р. Манвелл «Йозеф Геббельс — Мефистофель усмехается из прошлого». М., Феникс, 2000

№ 5

1. «Его любимым преподавателем был профессор литературы Гейдельбергского университета Фридрих Гундольф. Он написал несколько работ о Гёте и о Шекспире, в частности о влиянии последнего на немецких классиков. Это был высокий мужчина с приятной внешностью, но не от мира сего. Не многие студенты смогли свести с ним близкое знакомство. В то время он был душой так называемого кружка «Георге», названного так по имени Стефана Георге, видного поэта того времени. В него входили литераторы и эстеты, в основном анемичные юноши, более погружённые в свои вирши, нежели в события текущего дня.

Геббельс высказал желание стать членом кружка «Георге» и отрекомендовался профессору писателем, но Гундольф, хотя и находился под некоторым влиянием молодого студента, в конечном счёте отказал ему.

Лекции Гундольфа по немецкому романтизму увлекли Геббельса, он был очарован духом работ братьев Шлегель, Тика, Новалиса и Шеллинга. Он с головой ушёл в мир столетней давности и написал докторскую диссертацию по эпохе романтизма под названием «Вильгельм фон Шютц. Вклад в историческую драму романтической школы».

Профессор фон Вальдберг, его научный руководитель, получил от юного Геббельса благодарственное письмо, где тот вновь повторял, сколь многим обязан своему учителю. Нелишне заметить, что фон Вальдберг был полукровкой, а Гундольф — чистокровным евреем.

Позднее Геббельс понял, что его раннее увлечение немецким романтизмом было не более чем мимолетным. Став министром пропаганды, он не только изъял свою докторскую диссертацию из библиотеки Гейдельбергского университета, но и в своей официальной биографии поменял её название на «Духовно-политические течения раннего романтизма», придав таким образом своему литературному труду, хотя и задним числом, политическую окраску».

2. «Он решил бросить политику. Он снова возьмется за перо, он станет freier Schriftsteller — свободным литератором.

Он сочинил пьесу под названием «Странник» и автобиографический рассказ «Михаэль». Пьеса, написанная в стихах, никогда не была напечатана. Сюжетом он взял жизнь Иисуса Христа. Через два года появилась еще одна пьеса — «Одинокий гость», — и опять в стихотворной форме. Её тоже не принял ни один режиссёр.

«Михаэля» опубликовали в 1929 году, и позже, когда Геббельс стал министром пропаганды, рассказ имел успех. Для Геббельса он имел особое значение, он называл его лирической песней в прозе. Он даже заявлял, что написал бы немало подобных вещей, если бы не оказался втянутым в политику. Но, по мнению тонких и знающих критиков, это был совершенный вздор, набор беспомощных и незрелых мыслей. По большей части там были банальнейшие афоризмы наподобие следующих:

«Всякому человеку нужна мать».

«Я ищу учителя, настолько простого в величии, чтобы быть великим в простоте».

«Я остался без гроша. Деньги — грязь, но грязь — не деньги».

Помимо таких перлов, книга содержала изрядную толику белых стихов, навеянных немецкими экспрессионистами 20-х годов. Ни стихи, ни сама проза не имели особого смысла и даже в глазах самого Геббельса обладали сомнительной ценностью. Он пришёл к выводу, что молодой человек не должен искать спасения в интеллекте, что его истинное спасение — физический труд».

Курт Рисс

«Кровавыйромантик нацизма. Доктор Геббельс», М., Центрполиграф, 2006

№ 6

«…Полностью свои «потуги» заниматься писательством Геббельс так и не бросил. Мне даже удалось перевести в рифму несколько его стихотворений. Приведу здесь только одно, написанное им в 1918 году, а затем воспроизведённое на одной из светских вечеринок в 1938-м, якобы только что родившееся и посвящённое жене Магде. Кстати, называется оно «Хрустальная ночь».

Этой ночи мерцанье
Я невольно услышал,
Как осколки Посланья,
Что ниспослано свыше.
Я сложить их не в силах.
Угасает мерцанье…
В тёмной ночи Желанья
Гаснет Неба Посланье…

<…>.

Геббельс всё-таки продолжал писать стихи, по крайней мере, до 1940 года. Более поздней даты я не видела. В основном это были рифмованные объяснения в любви. По посвящениям, которые он делал перед стихотворениями, и датам после них можно последовательно восстановить все имена его пассий.

<…> в 1921 году его первый роман «Михаэль» был дружно отвергнут шестью боннскими издательствами <…>.

Поначалу Геббельс усиленно пробовал себя в избранной профессии — филологии, но получал одни щелчки по носу, а то и оплеухи. И всю жизнь он не мог забыть, как им однажды пренебрегли в Гейдельбергском университете, где он слушал курс лекций известного историка германской литературы Фридриха Гундольфа. Профессор входил в элитарный кружок друзей и почитателей знаменитого поэта Стефана Георге, страстным поклонником которого был Геббельс. Понятно, как он мечтал быть введённым в этот избранный круг, сколько приложил усилий! Но профессор Гундольф не счёл студента Геббельса достойным такой чести, видимо, не считая его перспективным и достаточно одарённым. Любопытная деталь: вместо Геббельса в кружок друзей поэта легко попали другие: Клаус фон Штауфенберг, тот самый — герой покушения на Гитлера в 1944-м, а также — будущий вождь гитлерюгенда Бальдур фон Ширах…».

Е. Сьянова

«Десятка из колоды Гитлера», М., Время, 2006 (с. 104, 106, 108)

№ 7

Геббельс, Михаэль и антихрист

В 1929 году Йозеф Геббельс, будущий гитлеровский министр пропаганды, написал роман «Михаэль — германская судьба»[18]. Там встречаются фразы вроде: «Кому не противен дьявол, тому не люб и Господь. Кому люб свой народ, тому должен быть противен убийца своего народа, противен до глубины души». В роли дьявола здесь выставлен русский Иван Войнаровский, который сначала был другом германского студента Михаэля. Однако, когда Иван признаёт себя коммунистом и хочет склонить Михаэля к интернационализму, дружба обращается в полную ненависти вражду. Михаэль чувствует себя так, будто у него украли Отечество. Он углубляется в самого себя и пишет роман о Христе, какой, впрочем, под заглавием «Иуда Искариот» написал и сам Геббельс.

Михаэль приходит к выводу: «Существует германская идея, подобно тому, как существует идея русская. Им обеим однажды предстоит схлестнуться в споре за будущее». Ради этого будущего он хочет трудиться. Он бросает учёбу и посвящает себя горному делу. Глубоко в шахте он фантазирует о том, как убивает Ивана: «Я прижал Ивана Войнаровского к земле: в нём я преодолел русского человека. Я освободил самого себя: освободил в себе германского человека. Теперь мы оба стоим, как непримиримые соперники один против другого».

Богослов и психоаналитик из Базеля Гартмут Рагузе комментирует это место в тексте: «Так же, как архангел Михаил сбрасывает с небес сатану, так Михаэль в романе освобождает самого себя от русскою дьявола». А относительно романа в целом он продолжает: «Хотя в нём отсутствуют цитаты непосредственно из Апокалипсиса, текст прочитывается, как толкование 12 главы». Он заключает: «Сначала в фантазиях, а позднее на деле Геббельс стремится идентифицировать себя с регрессивнейшими фрагментами Апокалипсиса» (Психоанализ и библейская интерпретация).

Перевод с нем. яз. — наш.

Приложение II
Йозеф Геббельс. Исправленный машинописный текст ею романа «Михаэль Фоорманн»

Нацистский министр пропаганды, с ранних дней примкнувший к Гитлеру, мастер манипуляции массами, лишивший жизни себя и членов своей семьи в последние дни войны. Исторически важна недописанная копия пьесы Геббельса «Михаэль Фоорманн. Судьба человека в дневниковых листках», содержащая некоторые ошеломительные карандашные поправки и дополнения, сделанные рукой Геббельса в 1923 году. Этот, в действительности полуавтобиографический, роман представляет собой сочетание собственных мыслей Геббельса и историю жизни ею лучшего друга Рихарда Флисгеса. Флисгес — ветеран Первой мировой войны, анархист и социалист, оказывавший глубокое влияние на Геббельса, погиб в результате несчастного случая на горных разработках, и роман посвящается ему. Михаэль Фоорманн, солдат Восточного фронта в Первую мировую войну, возвращается в Германию революционно настроенным. В университете он влюбляется в Герту Хольк (прототип — подруга Геббельса Анка Штальгерм) и переживает падение под дурманом мистически и радикально настроенного русского студента Ивана Войнаровского. Все трое проживают в Мюнхене, а Михаэль начинает работать над драмой о Христе (Геббельс и сам ранее написал пьесу об Иуде Искариоте). В конечном итоге, Герта, найдя его слишком угнетающим, бросает ею, и Фоорманн бросает учёбу, чтобы, став горняком, присоединиться к рабочему движению. Но едва он добился успеха, он погиб в результате несчастного случая. Роман написан в форме дневника, и большие его фрагменты заимствованы прямиком из личных дневниковых записей Геббельса. В общем, он демонстрирует читателю чувства, которыми в поисках идентичности или первопричины был охвачен Геббельс. Вскоре он нашёл идентичность и первопричину в нацизме. Долгие годы Геббельс пытался опубликовать роман, что удалось сделать только в 1929 году, когда он получил действительную власть — роман был исправлен в соответствии с идеями нацизма и издан.

Перевод с англ. языка — наш.

MICHAEL VOORMANNS

Ein Menschenschicksal in Tagebuchblättern.

Diese Buch widme ich dem Andenken meines Freundes Richard Fliegas.

PRÄLUDIUM.

Aus geheimnisvollen Tiefen steigen in ewigem Wechsel kraftte Jungen Lebens. Zerstörung und Auflösung in der Zeit bedeuten mehr als das; nicht Untergang, sondern Übergang. In der Stille wirken und schaffen die segenreichen Gewalten eines tatkräftigen und hingebungsvollen Aufbaues.

Die Jugend ist nicht tot; sie lebt und glaubt. Aus ihr ringen sich keime neuer Daseinsformen verhalten zum Licht empor.

Der Geist der Jugend stirbt nicht.

In den Herzen der Jungen brennt heiße und glutend der Drang zum wiederaufbau, zum neuen Leben und zu junger Form. Mit Sehnsucht warten sie auf den Tag. In den Bunkkammern der großen Städte voll Hunger, Kälte und geistiger Qual wächst Hoffnung und Symbol einer anderen Zeit empor. Glaube, Arbeit und Sehnsucht sind die Tugenden, die die neue Jugend in ihrem faustischen Schöpferdrang eines.

Das letzte führt die Jungen zu einander; der Geist der Auferstehung, das Los von Materialismus, das Ja zum Glauben, zur Liebe, zur inbrunstigen Hingabe.

Die Jungen warten auf den Tag, der ihn Gerittarvind bringt, sie werden in gegebenen Augenblick den Mut haben, den deutschen Willen zu einer einzigen großen Tat um den deutschen Gedanken zusammen zu raffen. Die Jugend will leben, und darum muß und wird sie leben.

Michael Voormanns Tagebuch ist ein Denkmal jugendlicher Inbrunst und Hingabe in unserer Zeit, das erschütternd und tröstend zugleich ist. In seinem stillen bescheidenen Spiegel spiegeln sich alle die Dinge, die unsere Jugend heute zu einem Gedanken und morgen zu einer Macht formen. Und so ist Michaels Voormanns Leben und Sterben mehr als Zufall und blindes Schicksal. Es ist Zeichen der Zeit und Symbol

MICHAEL VOORMANNS TAGEBUCH.

Im Zug zwischen Frankfurt und Freiburg, 2. Mai.

Unter mir schnaubt nicht mehr der Volksbluthengst, ich sitze nicht mehr auf Kanonenbunken. Der Weg geht nicht mehr durch weite rumänische Ebene und trostlos verschossenes französisches Land. Ich löse mich aus den festen Kreise von Krieg und Zerstörung.

Friede! Ich fühle und fasse ihn wieder zum ersten Male.

An den Seiten scheint deutsches Land vorbei, Städte, Dörfer, Wälder Felder. Da geht ein stiller Weg durch braune Äcker. An den Rändern blühen Blumen.

Da spielen Kinder auf der Dorfstraße.

Dann wieder weite grüne Felder, es leuchtet in tausend Farben und Lichtern . Sonne liegt auf deutschem Land.

Heimat!

Ein Blühen ins den Feldern und Gärten, herumschend, verschwenderisch.

Ich werde getragen,wie eine schwimmende Insel. Ins Land! Ins Leben!

Der Freiheit entgegen!

Ich war in Frankfurt und habe dem jungen Goethe meine Reverenz gemacht. Führer im Streit der Geister. Vorkämpfer jedes Jugendgedankens! Nicht Weimar ist Mekka.

Ich trage ein einzigartes Buch den Faust in der Tasche. Aber ich lese nur den ersten Teil.

Heidelberg! Ins liebliche Tal gebettet. Oben liegt das Schloss.

Auf meinem Tisch steht eine langgestielte, rote Nelke.
Gute Hertha Holk!

1. Juni.

Hertha Holk singt Brahms' Sapphische Ode und Schubert's Auf dem Wasser zu singen mit einer schönen Altstimme. Dann spiele ich Schubertsche Impromptus bis tief in die Dunkelheit hinein.
Zum Schluss Hugo Wolfs Du bist Orplid mein Land.
" Vor deiner Gottheit beugen sich Könige, die deine Hörer sind!"
Jubelnd, siegreich, erlösend! Die Könige beugen sich vor der Gottheit; das ganze Lied sammelt sich in einem Akkord.

Ich streife noch stundenlang durch die helle Nacht, ich finde keine Ruhe und bin doch voll Klang und Bewegung. In mir klingen Tone nach, Akkorde, Harmonien.

Hertha Holk, ich liebe dich!

Die Nacht ist meine liebste Freundin, sie glättet den Sturm in der Seele und lässt die fahrenden Sterne aufgehen.
Helle der Nacht, in mir wird's Tag!
Friede! Friede!

Ich mache aus meinem kleinen Zimmer ein Königsschloss, und sehe die weissen Marmorsäulen leuchten.

Die deutsche Dichtung ist ein Kind des Protestantismus, aber die deutsche Musik ist katholisch bis auf den Knochen.
Es gibt Dichter, die schreiben Musik, nicht die tiefsten, aber

1. August.

Fahrt durchs Kohlengebiet. Hertha Holks Heimat!
Hagen klatscht gegen die Scheiben.
Grauer Nebel! Rauch! Lärm! Erwachen! Ächzen! Flammen schlagen auf gen Himmel!
Symphonie der Arbeit. Zukunft!
Grandioses Werk aus Menschenhand!

Der meine Brüder in Grube und Werkstätte!
Ich grüsse euch!

Rhone! Wiesen mit fettem Gras! Rinderweiden!
Der Tag klärt sich auf. Sonne kommt. Fenster herunter!
Man glaubt, Salz zu riechen.
Ich stehe am Fenster. Mein Herz klopft zum Zerspringen. Alles in mir ist Erwartung.
Norden!
Noch fünf Minuten, sagt mir lächelnd eine Dame.
Da, in der Ferne steigt es auf. Blaugrau!
Unendlichkeit! Das Meer!
Thalatta! Ich möchte schreien!
Thalatta! Thalatta!

Das Meer!
Wellenspritzer über Gesicht und Hände. O, wie das wohl tut!
Schaukelnde Fahrt!
Land verschwindet. Sonnenball sinkt in Endlosigkeit!
In der Ferne ein Punkt! Ein Streifen, Land!
Der Schiffer deutet mit der Schulter.

Die schön ist das Leben!
Musik und Tanz! Die Geigen schluchzen!
Der ernste Zeitpfeifer mahnt!
Tut nun ein tolles Singen und Jauchzen!
Amo singt und schreit mit.
Umarmung! Freundschaft! Enge Freundschaft!
Leben schöne Frauen! In Schwarz und Rot!
Ach, wie bist du die Schönste, Hertha Holk!

Agnes Stahl ein Schweizer Bürgerstöchter. Wir sitzen lange zusammen und sie erzählt von ihrer Kunst.
Agnes Stahl und Hertha Holk verstehen sich gut.
Agnes Stahl spricht nicht viel. Aber man hört sie gerne schweigen.

Hasa, ihr Klassenlose! Der Teufel soll euch holen!
Musik und Tanz! Die Geigen schluchzen!
Frauen in Schwarz und Rot!
Ach, wie bist du die Schönste, Hertha Holk!

7. Dezember.

Diese Künstlerseelchen nimmt das Leben nicht allzuschwer.
Geschmackvoller Genuss! Man muss die Nieder überwinden.
Die Tiefen sondern sich bald ab und gehen ihren eigenen Weg.
Aber diese Künstlerseelchen nimmt die so sein Ende zum Leben nicht allzuschwer.

9. Dezember.

In den Zeitungen wird gehetzt und geschimpft. O, dieses verantwor-

wir uns wieder. Sie haben sicherlich einen grossen Weg gemacht. Sie sind glücklicher als wir, da Sie klar sehen und gut haben. Zivilcourage nennt man das. Sie lieben nicht ans Leben. Das macht den Menschen stark. Jetzt erst, wo Sie nicht mehr hier sind merke ich, welch eine Fülle von werktätiger Kraft von Ihnen ausgeht.
Sie sind es der Jugend schuldig. Sie dürfen nicht verzweifeln!
Agnes Stahl."
Nein, ich darf nicht verzweifeln!
Ich muss das gut zum Letzten aufbringen!

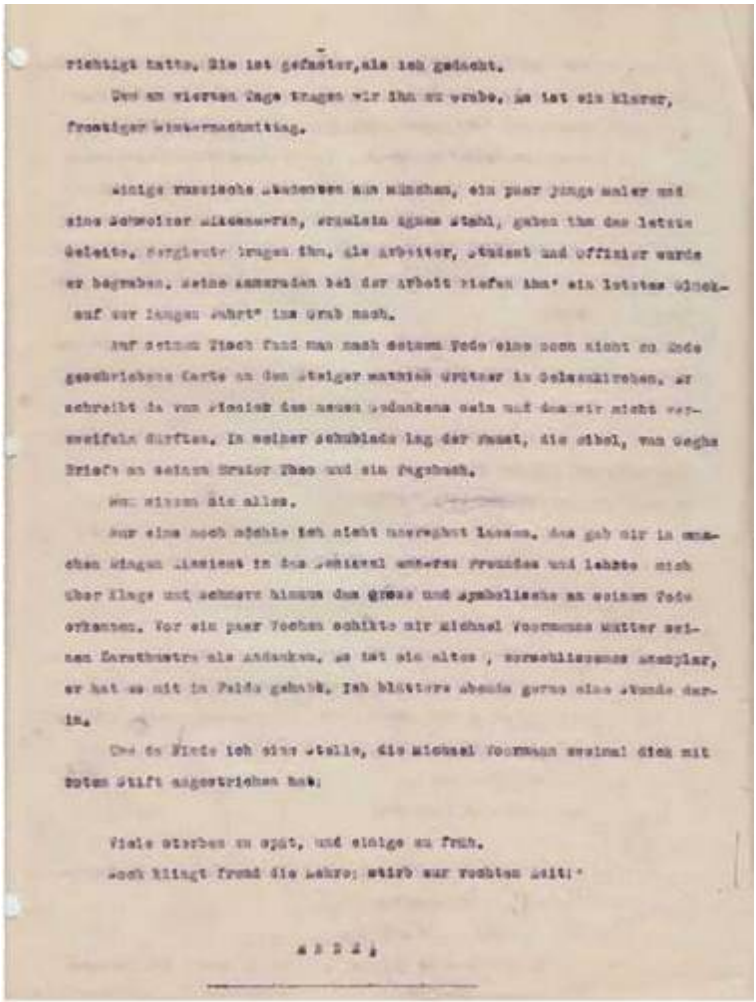
27. Juni.

" Kommen Sie bald, Agnes Stahl, ich bin auf der Wache."

Der Mensch in mir empört sich gegen den Geist.
Ich will den Geist töten und ein Mensch sein!

2. Juli.

" Ich werde arbeiten müssen, Agnes Stahl, das ist meine letzte Rettung."
" Sie haben immer gearbeitet."
" Nein, ich war ein Phantast, ein Ästhet, ein Ich-Anbeter.
Ich wollte die Welt mit ihrem erleben.
Ich habe mich selbst gesucht."
" Sie lieben das Opfern."
" Ja, opfern muss man. Ich liebe es nicht, aber ich muss es. In die tiefste Tiefe muss ich steigen, man muss von unten anfangen.
Ich war ein Arbeiterkind. Ich habe Übermittelten dankbar angenommen.
Ich will noch einmal anfangen, von vorne anfangen.



richtigt hatte. Sie ist gestorben,wie ich gedacht.

Den am vierten Tage trugen wir ihn zu Grabe. Es war ein klarer, frostiger Winternachmittag.

Einige russische Studenten aus München, ein paar junge Maler und eine Schweizer Milchfrau, Fräulein Agnes Stahl, gaben ihm das letzte Geleite. Vergessen trugen ihn, die Arbeiter, Studenten und Offiziere wurde er begraben, seine Kameraden bei der Arbeit riefen ihm' ein letztes Glückauf zur langen Fahrt' ins Grab nach.

Auf seinem Tisch fand man nach seinem Tode eine noch nicht zu Ende geschriebene Karte an den Steiger Matthias Grüner in Gelenkirchen, er schreibt in ihr von vielen neuen Gedanken, die auf dem wir nicht verzweifeln dürften. In seiner Schublade lag der Faust, die Bibel, von Gegha Briefe an seinen Bruder Theo und ein Tagebuch.

Nur diesen die alles.

Nur eine noch möchte ich nicht unerwähnt lassen. Das gab mir in manchen düsteren Stunden in den Schwermut unseres Freundes und lehrte mich über Klage und schwere hinaus den großen und symbolischen an seinem Tode erkennen. Vor ein paar Wochen schickte mir Michael Voormanns Mutter seinen Zarathustra als Andenken, es war ein altes , vorzügliches Exemplar, er hat es mit in Felde gehabt. Ich blätterte abends gerne eine Stunde darin.

Und da fand ich eine Stelle, die Michael Voormann einmal dick mit rotem Stift angestrichen hat:

Viele sterben zu spät, und einige zu früh.
Noch klingt fremd die Lehre: stirb zur rechten Zeit!'

* * *

Попутные заметки переводчика на полях дневника Михаэля

* Мотив восхождения в горы: Христос — Заратустра — Михаэль.

* Наиболее важно то, что роман разбит на две части. Прежде всего, это догейдельбергская и гейдельбергская части. Таким образом, перед нами символически и в привязке к новой реальности изображаются два периода истории германского романтизма: ранний, метафизикоидеалистический, богоискательский (и здесь Михаэль пишет и сжигает поэму о Христе, обретает и теряет свой голубой цветок — Герту Хольк) и гейдельбергский — национал-патриотический, более вкоренённый в народную действительность и трудовую

повседневность (и здесь, аккурат по прибытии в Гейдельберг, Михаэль переходит на националистические позиции и, уже не удовлетворённый прежними мечтаниями и опять-таки раннеромантическим «бездельем» (произведения про бездельников), отправляется «в народ»). Кроме того, Михаэль — а) солдат; б) студент (даже в большей степени, чем солдат, до «политического солдата» Курта Эггерса не дотягивает весьма и весьма). Оба статуса архетипичны для героя германской литературы.

* Второе, что приходит в голову: две части «Михаэля» — не что иное, как две части Гётевского «Фауста». Первая — «песни невинности и опыта», плюс Герта-Гретхен. Вторая — гораздо более философски отвлечённая, но при этом она же и более динамичная, более «практическая». И Фауст, и Михаэль — оба оканчивают жизненный путь на строительстве.

* Роман претенциозен: мало того, что он синтезирует под единой обложкой драму (диалоги), эпос (повествование) и лирику (стихи Михаэля), но также, по всей видимости, является дерзкой попыткой синтезировать все предшествующие направления новой германской литературы: сентиментализм и романтизм, символизм и экспрессионизм, наконец, главным образом, реализм. В романе, помимо прочего, обнаруживаются черты натурализма, утопии, романа-воспитания, романа в письмах, областнического романа, путевых заметок. Всё это подобно самому герою, символически синтезирующему в своей личности солдата, студента и рабочего.

«Жажда жаждать», «тоска», тоска «по чему-то, о чём не знаю, как сказать», «порыв», «влечение», «тяга» — все эти многочисленные оттенки внутренних переживаний Михаэля в романе передаются словом из лексикона германских романтиков «Sehnsucht».

Перманентное противопоставление героем себя «мещанству» также почерпнуто из романтической традиции.

* О смерти Михаэля в романе уведомляет практикант и его товарищ Александр Нойманн. Он же принимает от него, как эстафету, его томик «Заратустры», тем самым символически заступая на его место. Neumann по-немецки буквально — «новый человек». Фамилия же Михаэля, как стало известно из сведений о первоначальной редакции романа (носившего даже иное название) — Фоорманн (Voormann), где «voor» — немного искажённое «vor», приставка, означающая «до», «пред», т. е.

буквально — «предтеча». Также интересно было узнать, что нарицательное прозвище германцев — «Михель», т. е., почти «Михаэль». Тогда «Михаэль Фоорман» — не что иное, как «германский предтеча».

Перевод текста с немецкого языка, составление приложений, подбор фотоматериалов:.

03. 06., 2012 г., день св. Троицы.

notes

Примечания

1

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку! (лат.) (здесь и далее прим. пер.).

2

Понятие «Орплид» («Orplid») относится к стихотворению «Песня Вейлы» германского поэта-романтика Э. Мёрике. Оно означает рай по ту сторону моря-океана, девственный, чистый мир, где ищущая душа обретает родину. Эти стихи положил на музыку упоминаемый композитор Г. Вольф.

3

Верую, следовательно, существую! (лат.).

4

«…мысли мои сделались легки, точно летящая цветочная пыльца» — возможно, здесь нарочитый повтор, отсылающий к сборнику максим и афоризмов романтика Новалиса под названием «Цветочная пыльца». Сами же свои максимы и афоризмы романтики называли фрагментами. Кажется, что и сам роман «Михаэль» во многом написан именно такого рода «фрагментами».

5

«Ecce Homo» — «Се — Человек» — латинский перевод из Вульгаты выражения, с которым, согласно Евангелию от Иоанна (гл. 19), Понтий Пилат показал народу Иерусалима после бичевания Иисуса Христа, одетого в багряницу и увенчанного терновым венцом, желая возбудить сострадание толпы. Иконографически (начиная с эпохи Возрождения) тип изображения, входящего в цикл Страстей Господних: Иисус изображается страдающим, в терновом венце, впивающемся шипами в кожу, окровавленным после бичевания, в руках может быть ветка, символизирующая скипетр, на плечах красная мантия — так как он карикатурно переодет царём.

6

Роман писавшего на немецком языке швейцарского писателя-реалиста Готфрида Келлера (1819–1890). Произведение написано в 1855 г.

7

«Ave-Läuten!» — католическое церковное песнопение.

8

Греч, «Θαλαττα! Θαλαττα!» или «Θαλαδδα! Θαλαδδα!» — «Море! море!» — возглас 10000 греков, после знаменитого отступления увидевших Евксинский понт. Позже стал употребляться переносно, при надежде на близкий успех, удачу.

9

Нарицательное прозвище германцев.

10

«Ежедневно сижу я на побережье и пишу мои рокочущие стихотворные строки. Море задаёт для них такт»: Михаэль — Гомер, пишущий о Христе.

11

Знаменитая фраза Ф. Шиллера, вложенная автором в уста герою драмы «Разбойники» (1781 г.) Карлу Моору. Впоследствии сделалась крылатой.

12

«Искусство ради искусства», «чистое искусство» (франц.) — концепция французского происхождения, подчёркивающая автономную ценность искусства и рассматривающая озабоченность моралью, пользой, реализмом и дидактикой как не имеющую отношения и даже вредную для художественных качеств произведения.

13

Вот как в своих воспоминаниях «Неизвестная война» объясняет происхождение таких рубцов, в частности, другая известная при национал-социализме фигура — О. Скорцени: «Среди старинных обычаев этих студенческих союзов были и дуэли на шпагах, называемые Paukboden (дословно «фехтовальные площадки» — пер.). Правила предписывали никогда не отступать перед противником и не отклонять лица от удара — дуэлянты сражались, наклонив головы вперёд. По моему мнению, это была школа мужества, хладнокровия и сильной воли. Конечно, мы не были «кроткими ягнятами», я сам участвовал в дуэли на шпагах четырнадцать раз, о чём свидетельствуют многочисленные шрамы».

14

«Душа германца — фаустианка». «Ах, две души в груди моей!» Таков и роман. Критики, в угоду политкорректности, заметили лишь одну из двух душ: за тем, что роман нарочито примитивен и, да, эклектичен! — затерялось второе: глубина и последовательность творческого замысла автора. А принимая во внимание оную, правомерно будет сказать, что роман претендует на то, чтобы в себе сконцентрировать все основные узлы «германской души», связать воедино и, наконец, наметить им выход из областей умозрительности в практические сферы. Что за узлы «германской души»? Это основные символы, прошедшие сквозь всю германскую литературу прошлого, изрядно в ней попользованные, а потому вызывающие ироничную усмешку у современников и критиков, перед которыми предстаёт очередная попытка эксплуатации таких явлений, как Sehnsucht, Христос в образе Гелианда и пр. Им остаётся невдомёк, что, своим набившим оскомину и самым примитивнейшим использованием автор предельно осимволичивает эти явления, которые собирает в единое место, как разбросанные камни. Фридрих Гундольф досадно просчитался. (прим. переводчика)

15

Мф. 5,10.

16

В оригинале «Ein letztes Glückauf zur langen Fahrt!» — «Всяческой удачи в долгом путешествии»; «Glückauf» — пожелание удачи, благополучного возвращения, специфическое для горняков.

Здесь и далее выделено нами (сост. и пер.).

18

На самом же деле, роман был написан в 1923 году (некоторые критики и вовсе полагают, что он был создан в 1921 году, но друг автора, явившийся для него прототипом главного героя романа, погиб только в июле 1923 года), тогда как в 1929 году роман был лишь издан в ставшей окончательной и доступной ныне версии (прим. пер.).